

ЕВРЕИ В МИРОВОЙ КУЛЬТУРЕ

Л. С. ВЫГОТСКИЙ: НАЧАЛО ПУТИ

Воспоминания С. Ф. Добкина
о Льве Выготском

Ранние статьи
Л. С. Выготского



ЕВРЕИ В МИРОВОЙ КУЛЬТУРЕ



Лев Семенович Выготский

Л. С. ВЬГОТСКИЙ: НАЧАЛО ПУТИ



Воспоминания С. Ф. Добкина
о Льве Выготском

Ранние статьи Л. С. Выготского

Публикация, редакция,
предисловие и комментарии
И. М. Фейгенберга



И е р у с а л и м
1996

Л.С. ВЫГОТСКИЙ: НАЧАЛО ПУТИ: Воспоминания С.Ф. Добкина о Льве Выготском [Публикация, редакция, предисловие и комментарии И.М. Фейгенберга]; Ранние статьи Л.С. Выготского. Иерусалим: Иерусалимский издательский центр, 1996. 108 с., ил. (Сер. биографий "Евреи в мировой культуре". Вып. 27)

L.S. VYGOTSKY: THE WAY HE STARTED: S.F. Dobkin's Memoirs [Prepared publication, edited and annotated by I.M. Feigenberg]; L.S. Vygotsky's early essays. Jerusalem: Jerusalem Publishing Centre, 1996. 108 p. (A Series of Biographies "Jews in the the World Culture". Issue 27)

Редактор издательства: Лена Драгицкая

Acquisitions Editor: Lena Draginskaya

Редакционная коллегия:

С. Дудаков, С. Могилевский, М. Соминский (главный редактор)

Editorial board: S. Dudakov, S. Mogilevsky, M. Sominsky (chief editor)

Иерусалимский издательский центр

Редакция серии "Евреи в мировой культуре"

п.я. 11041, Гило, Иерусалим

Тел. 02-6766784

Jerusalem Publishing Centre

P.O.Box 37106, Jerusalem 91370

tel/fax 972-2-6245311

e-mail: misha@sharat.co.il

Printed in Israel

ISBN 965-7016-19-3

© I. Feigenberg, 1996

© Jerusalem Publishing Centre, 1996

СОДЕРЖАНИЕ

<i>И.М. Фейгенберг.</i> Предисловие.	5
Лев Выготский в воспоминаниях С.Ф. Добкина.	12
Гомель.	13
Семья Выгодских.	15
Кружок по изучению истории	19
Гимназия.	24
Университетские годы.	31
Путь к психологии.	47
Революция 1917 года и гражданская война в России.	52
"Века и дни"	57
Выготский и дети.	68
Психология.	70
Вхождение в большую психологию. Москва.	73
<i>Комментарии.</i>	81
Ранние статьи Л. С. Выготского.	86
М.Ю. Лермонтов (К 75-летию со дня смерти) 1841 - 1916.	86
Литературные заметки ("Петербург", роман А.Белого, 1916г.).	94
Аводим хоину.	102

ПРЕДИСЛОВИЕ

XIX век оставил нам огромное культурное наследие в виде писем, дневников, воспоминаний. Это очень ценное наследие. Даже когда эти записи не представляют собой художественной ценности, они дороги потомкам как документы эпохи, как свидетельства участников и очевидцев событий. XX век в России несравнимо беднее эпистолярным и дневниковым наследием. Бумаге боялись доверить многое из того, что видели и думали. Рукописи, вопреки Булгакову, горели. А иногда тащили за собою в огонь своих авторов и читателей. Письма в массе выродились в короткие деловые сообщения или просьбы. Писем с описанием и оценкой событий, с изложением своих мыслей почти не писали, а написанные — нередко уничтожали адресаты. Уничтожали даже безобидные: мало ли что будет с автором — и тогда письмо может стать "уликой" против адресата. Не на пустом месте в 30-е годы родился анекдот: "Мигрень у вас бывала когда-нибудь? — Нет, нет, что вы! Ни она у нас, ни мы у нее".

К демографическим последствиям войны относят не только погибших людей, но и тех, кто не родился из-за войны. Точно так же к культурным потерям периода тоталитаризма надо отнести не только сожженные рукописи, но и не написанные.

Богатая информация об эпохе, о ее событиях и людях хранилась в очень непрочном виде — в памяти современников. Для многих стихов О.Э. Мандельштама долгое время единственным хранилищем была память жены поэта — Надежды Мандельштам; и только это сохранило стихи для нас. Но ведь даже то, что психологи называют долговременной памятью человека, — всего лишь кратковременная память человечества. Она живет, в лучшем случае, несколько десятков лет.

Мысль о том, что необходимо перевести ценную информацию из индивидуальной памяти современников в более долговечную форму памяти человечества — на бумагу как занова сидела в моем сознании и постоянно болезненно напоминала о себе.

Семен Филиппович Добкин (1899 — 1991) — брат моей матери — был одним из очень близких мне людей. Он прожил долгую жизнь — почти весь XX век, многое видел и пережил, знал

многих интересных людей. У Семена Филипповича не было своих детей. И присущие ему "родительский", педагогический талант, ум и доброту он обратил на племянников.

Уже в 30-е годы, когда я в сущности, был еще ребенком, именно он открыл мне глаза на то, что происходит в стране. Конечно, разговоры были адекватными моему возрасту — не обо всем можно говорить с ребенком. Но Семен Филиппович считал, что и ребенку нельзя говорить неправду. То, о чем говоришь с детьми, должно быть только правдой; говорить надо только так, как думаешь сам, — но на понятном языке и в доступной форме. Такой подход был не частым — даже среди интеллигентных и хороших родителей. Они боялись за детей, боялись "сшибки", конфликта между тем, что ребенок слышит в школе, по радио, читает в детских журналах, и тем, что могли бы рассказать ему родители. Справится ли ребенок с такой "сшибкой"? Родители боялись, что ребенок расскажет что-то товарищам, школьному учителю — и в результате может остаться сиротой. Боялись рассказывать ребенку о прошлом своей семьи, если, например, дедушка принадлежал к старой аристократии или был до революции офицером или купцом, или профессором, членом партии кадетов (конституционных демократов), или просто сторонником Временного правительства, или что был репрессирован в послереволюционные годы.

Когда в начале 30-х годов был арестован мой дед, родители говорили, что он уехал к сестре на Украину, а Семен Филиппович рассказал мне правду, взяв покататься на лодке. В конце 1937 года он не боялся в разговоре со мной, 15-летним школьником, назвать Н.И. Ежова "бешеным псом сумасшедшего Хозяина" (Хозяином тогда называли Сталина). Семен Филиппович читал мне в те годы стихи опального и замалчиваемого школьной программой Бориса Пастернака. Как-то, когда я сказал в связи с одним стихотворением Пастернака, что он пишет непонятно, Семен Филиппович возразил: "Не говори, что он пишет непонятно. Скажи, что это т е б е непонятно — п о к а непонятно".

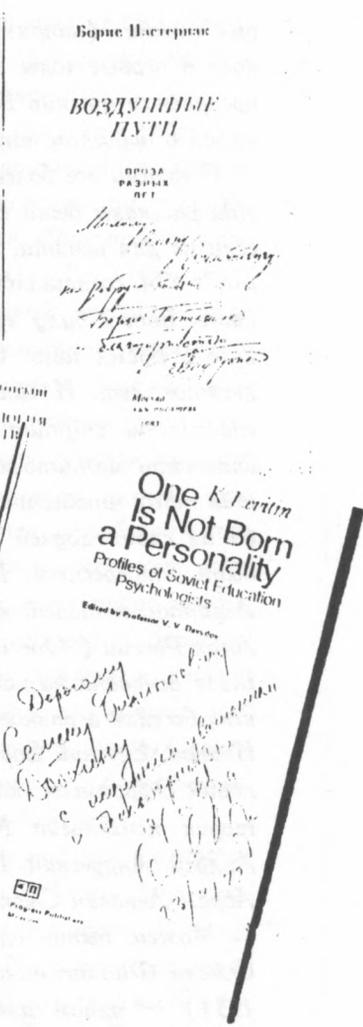
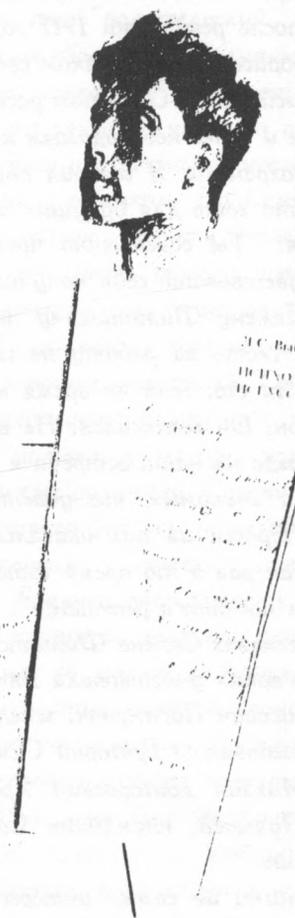
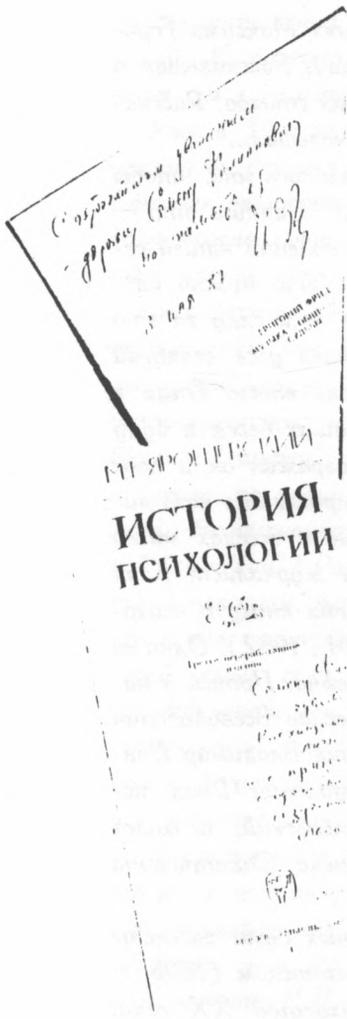
Семен Филиппович интересно рассказывал мне о событиях, которые видел, о людях, которых знал или выступления кото-

рых слышал (например, о смелых выступлениях Максима Горького в первые годы после революции 1917 года). Рассказывал о прекрасном чтении Борисом Пастернаком своих стихов. Рассказывал о прошлом нашей семьи. О многом рассказывал...

С годами все более и более необходимым казалось мне, чтобы эти рассказы были сохранены. Я говорил ему: "Запиши это — если не для печати, то хоть для будущих поколений нашей семьи". Он соглашался: "Ты совершенно прав, это нужно сделать. Вот я буду чувствовать себя получше — и сяду за это дело". Время шло. Семену Филипповичу пошел уже девятый десяток лет. И сил сесть за работу не появлялось. Тогда я спросил, не смутит ли его, если во время наших бесед я буду включать магнитофон. Он согласился. Не возражал он и против того, чтобы иногда на наши встречи я приглашал кого-либо из своих друзей и знакомых, чье участие в беседах могло быть интересным. Первым из них оказался журналист Карл Левитин, который как раз в то время готовил книгу о психологах России ("One is not born a personality". М., 1982). Одна ее глава основана на рассказах Семена Филипповича. Потом в наших беседах в разное время участвовали Вячеслав Всеволодович Иванов, Евгений Борисович Пастернак, генетик Владимир Павлович Эфроимсон, композитор Григорий Самуилович Фрид, историк психологии Михаил Григорьевич Ярошевский, психолог Андрей Андреевич Пузырей, племянник Семена Филипповича Абрам Львович Сыркин.

Может быть, одними из самых интересных были рассказы Семена Филипповича о Льве Семеновиче Выготском (1896 — 1934) — одном из самых выдающихся психологов XX века. Дружба с ним связывала Семена Филипповича с гимназических лет до смерти Льва Семеновича.

Молодые годы Л.С. Выготского и С.Ф. Добкина пришлось на время революции и гражданской войны в России. Известна крылатая фраза — дескать, "революции — это локомотивы истории". Но мне на ум приходит другой образ: революции — это моменты, когда потерявший управление "локомотив истории" сходит с рельсов. Действительно, после крушения оставшиеся в живых и обновят износившиеся рельсы, и поставят на них усо



Книги с дарственными надписями С.Ф. Добкину

вершенствованный локомотив, но не лучше ли сделать все это, не доводя до кровопролитного крушения? Не случайно Анатолий Франс назвал свою книгу о Великой французской революции "Боги жаждут" — боги жаждут крови.

В эти трудные годы С.Ф. Добкин и Л.С. Выготский организовали в Гомеле издательство "Века и Дни". Это издательство определило весь дальнейший жизненный путь Семена Филипповича. Он стал полиграфистом, некоторое время преподавал студентам курс, посвященный вопросам оформления книги, в Полиграфическом институте на кафедре, возглавляемой замечательным графиком В.А. Фаворским, творчество которого Семен Филиппович очень высоко ценил. С.Ф. Добкин написал несколько книг об издательском деле и о книгопечатании. Его интересная монография об оформлении книги выдержала два издания.

О Л.С. Выготском, насколько я знаю, не осталось подробных воспоминаний его современников и непосредственных учеников. Это тоже "знак эпохи". В конце жизни Льва Семеновича против него была развернута дикая травля, еще более усилившаяся после его смерти. Симптоматично, что в Малой Советской Энциклопедии издания 30-х годов Выготскому посвящена только одна фраза в статье "Психология". В этой фразе говорится о том, что Выготский нанес большой вред советской психологии.

Труды Выготского после его смерти долго не издавались. Значительно позже, в 1965 году, усилиями Вячеслава Всеволодовича Иванова была издана сохранившаяся в архиве кинорежиссера Сергея Эйзенштейна интереснейшая рукопись Выготского "Психология искусства". В.В. Иванов снабдил ее прекрасными комментариями. После этого были изданы и другие труды Выготского. Появились статьи и книги о Выготском. Но все это — с огромным опозданием. За редким исключением (А.Р. Лурия, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин) писали уже не те, кто знал Выготского непосредственно, лично — писали уже "духовные внуки" Льва Семеновича (А.Г. Асмолов, В.С. Библер, В.В. Давыдов, В.П. Зинченко, В.В. Иванов, А.А. Леонтьев, А.А. Пузырей, М.Г. Ярошевский, Р. Ван Дер Веер, Дж. Верч,

Г. Даниелс, А. Козулин, М. Коул, Г. Ньюмен, П. Тульвисте, С. Толмэн и др.). Поэтому сохранить для потомков свидетельство знавшего его человека мне казалось особенно важным.

Уезжая из Москвы в Израиль в 1992 году, я взял с собой магнитофонные пленки с записью наших бесед с Семеном Филипповичем, который скончался незадолго до этого. Переезд в другую страну — дело не простое. Не все пленки удалось довести до Израиля. (В то время советская таможня вообще запрещала провозить пленки с записями.) В пути из багажа пропала не только часть пленок, но и почти все семейные фотографии.

Из сохранившихся пленок и составлен текст "Лев Выготский в воспоминаниях С.Ф. Добкина". Я старался максимально бережно редактировать текст, сохраняя особенности речи С.Ф. Добкина. Из бесед, записанных в разное время, я составил единый текст, разбив его на смысловые отрезки для удобства чтения, снабдил комментариями. Удалось подобрать некоторые иллюстрации.

Семен Филиппович неоднократно подчеркивал, что его воспоминания дают лишь одностороннюю характеристику Л.С. Выготского. Полная картина может сложиться только из сопоставления многих свидетельств. Но для этой полной картины воспоминания Семена Филипповича кажутся мне очень важными. Его взгляд во многом не совпадает с тем, что уже было опубликовано о Льве Семеновиче. С.Ф. Добкин, например, считает, что мировоззрение Л.С. Выготского вырастает, в основном, из философии Баруха Спинозы, а не Карла Маркса. А взгляды Спинозы Семен Филиппович считает развитием иудаизма — хотя и "еретическим" развитием, с точки зрения ортодоксальной.

Эти записи — лишь штрихи к портрету очень крупного ученого. Для создания полного портрета понадобятся еще время и труд исследователей.

Кроме воспоминаний С.Ф. Добкина о Л.С. Выготском, в книгу включены несколько статей, написанных Выготским в начале его творческого пути, в его юные годы. Эти статьи не вошли в собрания его сочинений и стали библиографической редкостью. Воспроизведение их в этой книге поможет читателю

создать представление о молодом Выготском, о круге его интересов, о его мыслях, о его умонастроении того периода.

В этом году исполняется сто лет со дня рождения Льва Семеновича Выготского. Оно будет отмечено международными научными конференциями и, вероятно, изданиями книг — Л.С. Выготского и о Л.С. Выготском.

Пусть эта книга будет тем небольшим вкладом, который посилен мне.

Неоценимую помощь в работе над книгой оказали И.М. Рубина и Е.А. Кешман, которым приношу сердечную благодарность.

И.М. Фейгенберг

Иерусалим, январь 1996 г.

ЛЕВ ВЫГОТСКИЙ В ВОСПОМИНАНИЯХ С. Ф. ДОБКИНА

Я знал Льва Семеновича Выготского почти с детских лет и до самой его смерти. И тем не менее то, что я о нем знаю,



*Л.С. Выготский,
20-е годы*

то, как я его понимаю, то, что я о нем думаю, в какой-то степени отличается от того, что думают и знают о нем другие близкие люди – и члены его семьи, и ближайšie непосредственные ученики. Память о Льве Семеновиче для меня очень дорога. Я не могу считать, что все то, что я помню, и так, как я помню, и то, как я понимаю, – что все это, действительно, правильный образ Льва Семеновича. Это мои

воспоминания, мое мнение, мое понимание.

Наши отношения имели не совсем обычный для того времени характер. Несмотря на то, что мы были знакомы с его отроческих, а с моих вроде бы даже еще и детских лет, в наших отношениях никогда не было ничего похожего на "бытовое приятельство", если можно так выразиться. Они были основаны на тех дорогих и важных для нас обоих вопросах, которым, в сущности говоря, было посвящено все наше общение. Именно поэтому мои воспоминания о Льве Семеновиче в какой-то степени рассказывают только об одной стороне этого замечательного, очень сложного и многогранного человека.

Мне бы хотелось сперва рассказать о той обстановке, в которой проходили детство и юность Льва Семеновича Выготского.



*С.Ф. Добкин,
1945 г.*

ГОМЕЛЬ

Детство и юность наши проходили в Гомеле. Что это за город? В старой России Гомель был даже не губернским, а уездным городом. Но это был уездный город, наверное, не похожий на большинство российских уездных городов.

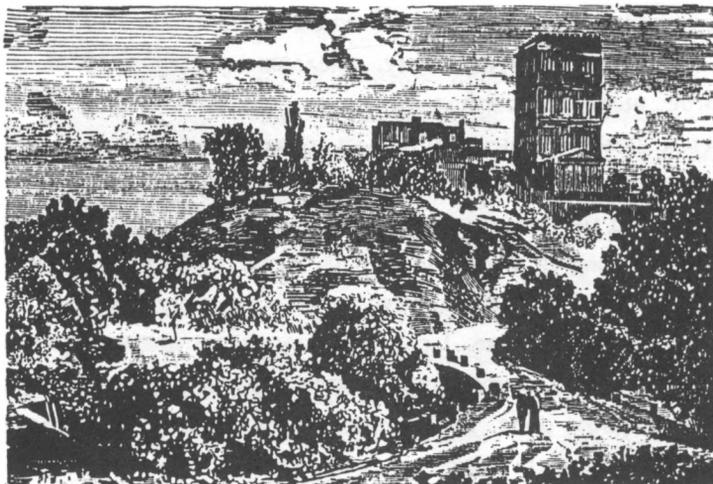
Немножко истории. Когда-то Гомель принадлежал князю Чарторыйскому. Екатерина II пожаловала город фельдмаршалу Румянцеву-Задунайскому, сделавшему для Гомеля очень многое: выстроил свой дворец, как говорили тогда - "замок", причем замок строил Растрелли, создал замечательный парк. Наверное, этот парк был еще и при Чарторыйских, но он был как-то перепланирован. Чудесный парк...

После смерти Румянцева-отца, Гомель перешел к его сыну - одному из выдающихся государственных деятелей России начала XIX века. Если мне память не изменяет, он был канцлером, т.е. нечто вроде министра иностранных дел или что-то в этом роде. Под старость Румянцев-сын переехал в Гомель и занялся изданием разнообразных исторических документов, исторических актов. Это замечательная страница в истории русского издательского дела, в особенности русской научной книги. Румянцев-младший был основателем и Румянцевской библиотеки в Москве. Переписку по всем этим делам он вел уже в значительной степени из Гомеля. Словом, Гомель стал при нем в какой-то, пусть и ограниченной, мере культурным центром.

Потом Гомель перешел к третьему представителю рода Румянцевых, а после него - к князю Паскевичу, который частично купил что-то у Румянцевых, а что-то ему было пожаловано Николаем I. К замечательному замку Паскевич пристроил четырехугольную башню - она портила, по-моему, ансамбль, а вместе с тем что-то новое и прибавляла к нему. Чудесный парк, где был пруд с лебедями, стена, которая с

наружной стороны была усажена каштанами, замок с башней – все это придавало городу какую-то особую красоту.

Замок, парк, озеро, каштановая аллея – все это было непохожим на тот быт, которым был занят весь город. Это был какой-то особый уголок, и он нечто менял в облике всего города.



Замок князя Паскевича в гомельском парке

Гомель был очень живым город. Это объяснялось в какой-то степени тем, что он очень быстро рос, потому как находился на пересечении двух железных дорог и на судоходной реке Сож, притоке Днепра. Поэтому в Гомеле очень быстро развивались и промышленность, и торговля, и ремесла. Очень быстро росло население города, в какой-то степени ставшего одним из центров западных российских губерний и, конечно, – одним из центров революционной жизни. Была в Гомеле знаменитая Кузнечная улица – центр рабочего движения.

В Гомеле произошло два еврейских погрома. Первый – в 1903 году. Во время этого погрома очень сильной оказалась

еврейская самооборона. Получилось так, что погромщики потеряли почти столько же людей, сколько они убили евреев. Через несколько месяцев после первого погрома был суд, но суд не над погромщиками, а над тридцатью шестью евреями – участниками самообороны. Вся эта эпопея хорошо и подробно рассказана писателем и ученым-этнографом Таном-Богоразом¹. Она занимает целый томик в его собрании сочинений, вышедшем в издательстве "Просвещение". Мне кажется, книга Тана-Богораза называется "Гомельский процесс", хотя я и не убежден в том, что правильно помню название. Но эта книга очень хорошо рассказывает о Гомеле того времени – удивительно живом городе.

Второй погром был в 1905 году, вскоре после Октябрьского манифеста о конституции, – и был он одним из множества погромов, которые прошли по всей черте оседлости. Первый гомельский погром был особенным, потому что он произошел тогда, когда еще повсеместных погромов не было.

После 1905 года начались очень тяжелые годы реакции. К счастью, эта полоса была недолгой. Я думаю, уже к 1908 – 1909 годам произошел перелом – началось большое, причем явно положительное оживление всей русской культуры и всей еврейской культуры. Я всех тех страшных лет реакции, по сути, не помню, потому что был тогда совсем еще ребенком, но для Льва Семеновича годы подъема пришлось уже на его отроческие годы.

СЕМЬЯ ВЫГОДСКИХ*

Семья Выгодских была, пожалуй, самой культурной еврейской семьей в Гомеле. Отец Льва Семеновича – Семен Льво-

* Об изменении Л.С. Выготским своей фамилии см. предпоследний абзац на с. 51 нашей книги.

вич – был управляющим отделением Соединенного Банка в Гомеле и, кроме того, был представителем одной из страховых компаний. Человек он был очень умный, причем ум у него был и глубокий, и ироничный. Я бы сказал, горько-ироничный. Для такого направления ума было достаточно оснований и достаточно материала в то время. Семен Львович был человеком твердого характера, но это не надо понимать так, что он был злым или недобрый человеком или еще что-либо в таком же роде. Наоборот.

В семье Выгодских было восемь человек детей. Несмотря на то, что у Семена Львовича была очень большая по тому времени семья, он систематически и в большой мере помогал семье своего покойного брата. Об этой семье я тоже немножко расскажу. К ней принадлежал двоюродный брат Льва Семеновича – Давид Исаакович Выгодский², который был старше Льва Семеновича. Они очень дружили, и Давид Исаакович оказал на Льва Семеновича большое влияние.

В то время всякий сколько-нибудь культурный, и даже малокультурный, человек, который думал не только о себе, стремился к какой-то общественной деятельности. Общественная деятельность тогда была, конечно, сильно затруднена. Больших возможностей для нее не было, но, может быть, именно поэтому каждый особенно старался найти для себя какую-то область общественной жизни, в которой он мог бы что-то делать. Семен Львович Выгодский также нашел для себя применение – он был председателем Гомельского отделения Общества распространения просвещения среди евреев России. Здесь опять сказались особенности его характера. Большая часть тех евреев Гомеля, которые могли заниматься общественной или какой-то подобной деятельностью, занимались, главным образом, филантропической деятельностью. Было Общество вспомоществования бедным, была "Еврейская бар-мицва", были другие возможности. А Семен Львович выбрал для себя именно просветительское направление.

Он был очень культурным человеком, несмотря на то, что официально не получил никакого диплома об образовании. По его инициативе Общество организовало в Гомеле прекрасную библиотеку.

Думаю, что мало в каком провинциальном городе была такая превосходная библиотека. И библиотекаря подыскивали замечательного. Фамилия его была Гурфинкель, он был немножко и литератором. Это был человек, который умел и вести библиотечную работу, и помочь читателям. Так что библиотека, организованная по инициативе Семена Львовича, была очень большим и заметным явлением в жизни Гомеля. Мы оба – Лев Семенович и я – этой библиотекой пользовались очень широко.

Мать Льва Семеновича, Цецилия Моисеевна, была, в отличие от мужа, на редкость мягкая, даже, можно сказать, кроткая женщина. Она тоже была очень культурным человеком.

Я помню, что именно у родителей Льва Семеновича всегда на столе были последние номера литературных журналов. В их доме всегда много читали. Родители Льва Семеновича глубоко уважали друг друга. Думаю, что в то время это было далеко не частое явление. Может быть, отчасти и поэтому в семье Выгодских между родителями и детьми складывался тот характер отношений, когда не существовало противоположности поколений, когда родители были и авторитетны и близки детям. Мать Льва Семеновича хорошо знала немецкий язык, очень любила Гейне (в семье его всегда называли "Heine" – и это, действительно, правильно). Мне кажется, что именно от матери Лев Семенович унаследовал любовь к этому поэту.

Интересен был дом, в котором жили Выгодские. Этот дом находился на углу Румянцевской и Аптечной улиц (кажется, позже улица Румянцевская называлась Советской, а Аптечная – улицей Жарковского) и был построен еще во времена

Румянцева: в нем и жил Румянцев. Потом в нем жила семья Выгодских, дом сохранился – я его видел после Второй мировой войны; может быть, позже его надстроили. Таких зданий в Гомеле было всего несколько – два-три еще сохранились. Двухэтажный, стены толщиной не меньше аршина, в нижнем этаже были даже помещения со сводами.

Квартира Выгодских была на втором этаже. Она состояла из пяти комнат: две огромные комнаты – столовая и спальня родителей; третья, чуть поменьше, но тоже очень большая комната, в которой жили три старших дочери; две комнаты были длинные и узкие: в одной жили две младшие девочки, в другой – трое мальчиков, в том числе Лев Семенович. У меня такое впечатление, что эти узкие комнаты были когда-то отгорожены от больших – во времена Румянцева все комнаты были большие, с очень высокими потолками.

Кроме того, к квартире примыкало большое помещение, в котором помещалось страховое агентство. В этом страховом агентстве работа происходила до какого-то позднего часа, до двух или до трех часов дня, а в вечернее время и оно было в распоряжении детей – мы там очень часто устраивали всякого рода собрания. Если кому-то почему-либо хотелось посидеть отдельно от других, он уходил в помещение конторы.

В столовой был длинный стол, за которым могли разместиться все члены семьи. За вечерним чаем – был такой обычай в семье – всегда шли какие-нибудь разговоры. Младших детей за чаем обычно уже не было, приходил кто-нибудь из знакомых старших детей. Эта столовая – с самоваром и разговорами – тоже одна из черт обихода семьи Выгодских. У Льва Семеновича не было отдельной комнаты. Может быть, именно поэтому разговоры за чайным столом и разговоры в помещении страховой конторы были какой-то заменой отдельной комнаты.

Был в доме балкон. Он выходил на Румянцевскую улицу и на бульвар. Вид на зеленый бульвар был очень приятным, и поэтому дети всегда охотно сидели на балконе. Внизу, на первом этаже, под балконом, было крыльцо – каменное, с чугунными старинными скамьями. Став старше, мы любили сидеть на этих чугунных скамьях, я об этом еще расскажу.

Среди восьмерых детей Выгодских самой старшей была сестра Хая (Анна Семеновна), Лев Семенович был вторым, третьей была Зина (Зинаида Семеновна)³ – вот с этими тремя старшими я и был особенно близок. Совершенно естественно, что с младшими у меня было меньше контактов.

Лев Семенович очень любил своих сестер и братьев. После смерти от туберкулеза своего младшего брата Додика (в 1918 или 1919 году) Лев Семенович подарил матери книгу рассказов Бунина с такой надписью (цитата из Б. Зайцева): “Дни идут за днями от одной туманной бездны к другой. В них мы живем. А отошедшие – с нами”.

КРУЖОК ПО ИЗУЧЕНИЮ ИСТОРИИ

Лев Семенович был на три года старше меня. Как началось наше знакомство? Моя сестра Фаня (мать Иосифа Моисеевича Фейгенберга) и сестра Льва Семеновича, Зина, поступили в гимназию одновременно, учились в одном классе и с первого дня гимназической жизни очень подружились, как оказалось – на всю жизнь. У них возникла, когда они уже были примерно в классе четвертом-пятом, мысль организовать кружок по изучению еврейской истории. В то время национальный вопрос был очень большим и острым – и их желание было совершенно естественным. В этот кружок должны были входить несколько девочек из их класса, а руководителем кружка они попросили быть Льва Семеновича, которому тогда было лет 15. Я был на три года моложе Льва

Семеновича, на 2,5 года моложе моей сестры и остальных участниц кружка, но так как моя сестра была инициатором этого дела, то, конечно, меня в кружок тоже приняли.

В сущности, мы занимались не столько изучением еврейской истории, сколько философией истории. Прагматическая история мало интересовала Льва Семеновича. Я думаю, что она мало интересовала и его слушателей. А вот что такое история, что такое нация, что делает людей нацией – такие вопросы были более интересны.

Кружок существовал около двух лет. В 1912 году Выготский кончил гимназию, уехал учиться в Москву, и кружок фактически прекратил свое существование. Может быть, когда Лев Семенович приезжал в Гомель на каникулы, а иногда и задерживался на дольше (тогда ведь студенты не обязательно должны были посещать лекции, так что, случалось, они задерживались) – бывали отдельные собрания кружка, но, по сути дела, систематической работы уже не было.

Несмотря на то, что Льву Семеновичу было тогда 15 лет (16 лет – самое большее), он вел кружок настолько замечательно, настолько удивительно, что об этом стоит немножко рассказать.

На первой встрече он сделал вступительный доклад, и было решено вести занятия, как мы бы сказали сейчас, семинарским способом. Были намечены темы, которые распределили между участниками кружка. По каждой теме Лев Семенович



*Фаня, Ксюта (Ксения)
и Сеня (Семен) Добкины.
Фаня и Сеня - члены кружка
по изучению истории*

нович предварительно беседовал с докладчиком, на заседании кружка делал небольшое вступление. После доклада – вопросы, прения и заключительное слово руководителя кружка. Я помню по себе, как интересно было с ним работать, как интересно было вести с ним разговор перед своим докладом! Должен вам сказать, что когда я поступил в Московский университет и участвовал в работе семинара Густава Густавовича Шпета⁴, то меня поразило сходство между этим семинаром и нашим кружком. А ведь Лев Семенович начал руководить кружком, когда еще не был студентом, он еще не был даже гимназистом. (Я об этом скажу несколько позже.) Ему не у кого было перенять опыт таких занятий, просто потому, что в Гомеле не было какого-либо учебного заведения, похожего на университет. Если его старший двоюродный брат, Давид Исаакович, что-нибудь и рассказывал о Петербургском университете, то это тоже могли быть лишь очень ограниченные рассказы. Я думаю, что он этот метод нашел сам.

У меня было такое впечатление, что кружок заставляет и его работать, что он не просто ведет занятия как преподаватель, а что одновременно сам для себя находит материал, который должен изучить, продумать. Именно "продумать" – может быть, это слово больше подходит, потому что, повторяю, проблемы, которые мы обсуждали, были не столько исторические, сколько историко-философские: вопрос о том, что такое нация и что делает нацию нацией; вопрос о том, что такое история – наука или искусство; вопрос о том, какова роль личности в истории. В то время эти вопросы не могли быть уже решены Львом Семеновичем. Я думаю, что он одновременно и учил, и сам учился.

Что еще в нем сказывалось уже в то время это, я бы сказал, диалектический подход к знанию, диалектический подход к решению мировоззренческих вопросов. Он тогда уже увлекался Гегелем. "Тезис – антитезис – синтез" – этот гегелевский

метод уже тогда казался ему правильным путем для размышления и познания.

Уже в то время он понимал историю именно как философию истории. Например, один из трудных вопросов еврейской истории связан с тем, что делает нацию нацией, каковы признаки нации. Обычно считалось, да и до сих пор считается: территория объединяет людей в нацию, язык объединяет людей в нацию, религия объединяет людей в нацию, государственный строй. Но ни один из этих признаков не годился для понимания того, что собой представляет еврейский народ как нация. Лев Семенович считал, что нацию образует общность исторического прошлого. Мне кажется, что мысль эта очень глубокая. Историческая общность судеб - вот что превращает людей в нацию.

Я думаю, что Лев Семенович серьезно готовился к занятиям кружка, даже не сомневаюсь в этом. Наверняка, он сам много думал о теме занятий и многое осмыслял перед тем, как те или другие темы развивать. Думаю, что этот кружок дал очень многое не только нам, его рядовым участникам, но и самому Льву Семеновичу. Основной след в науке он оставил как психолог. Но, по сути, Лев Семенович был мыслителем, в самом полном и лучшем смысле этого слова. В каком-то смысле он был мыслителем-историком. Думаю, что исторический подход к любой проблеме был для его мышления характерен. В занятиях кружка это очень ясно проявилось.

Какими источниками мы пользовались в кружке? Обсуждая проблемы нации, мы за все время не вышли из библейского периода - и в какой-то степени первоисточником была Библия, но научными источниками были, с одной стороны, "История евреев с древнейших веков до настоящего времени" Генриха Грецца (это 12-томное издание, перевод с немецкого), а с другой стороны - книга Жозефа Эрнеста Ренана "История израильского народа". Оба автора стояли на совершенно противоположных позициях. Для Грецца история продолжа-

лась на протяжении тысячелетий; для Ренана история кончалась с приходом в этот мир Христа. На заседании, когда рассматривался вопрос о роли личности в истории, мы обратились к книгам Толстого и к работам Карлейля.

Диалектичность и историзм, сохранявшиеся у Льва Семеновича всю жизнь, уже тогда были ярко выражены.

Может быть, именно благодаря тому, что мы с ним познакомились в кружке, разница в возрасте (три с половиной года – 11,5 и 15 лет – это огромная разница!) не мешала нашим разговорам, беседам. Лев Семенович, конечно, был для меня старшим, а вместе с тем мы с ним очень легко разговаривали на любые темы, которые были мне интересны. Я всегда мог задать ему любой интересующий меня вопрос, а часто он вводил в наши разговоры и свои темы.

Я знал Льва Семеновича и раньше, но наше настоящее, близкое знакомство – это знакомство по кружку. В кружке доклады делали именно участники, а Лев Семенович только направлял. Мы с ним советовались перед докладом, и потом, после докладов, он делал какое-то заключение – и все это превращалось в настоящее, глубокое общение. Причем так как главной нашей темой была философия истории, то, естественно, разговоры уходили в самые разные стороны от частной темы того или иного доклада.

Выступления Льва Семеновича были всегда очень яркими – в его речи часто встречались повторы, он почти всегда давал не один эпитет, а два, которые усиливали значение, он два раза повторял одну и ту же мысль, пользуясь разными словами, и все получалось крепче. Мне представляется, что здесь сказывается в какой-то степени библейский стиль. В Библии этот прием "параллелизма" очень широко применяется. В частности, у пророков, во всех пророческих речах он всегда звучит. Мне представляется, что может быть, это было и неосознанно, но навеяно детским и отроческим воспри-

ятием Библии – и все это сказалось также на взрослом стиле Льва Семеновича.

Я вспоминаю заседание кружка, на котором обсуждался вопрос о Библии и вавилонском влиянии. За несколько лет до этого немецкий ученый профессор Делич⁵ на основании своих раскопок в Вавилоне выдвинул теорию о том, что Библия – это не оригинальное еврейское учение, что библейский закон – повторение вавилонских норм. Эта точка зрения не-правильна. Какое-то влияние могло быть, но иудаизм довольно далек и от вавилонской морали, и от вавилонской этики, и от вавилонского миропонимания. И вот Лев Семенович как раз именно об этом и говорил тогда на заседании кружка. Так что, я думаю, одним из философских корней мировоззрения Льва Семеновича был иудаизм.

Кружок по еврейской истории Выготский начал вести или накануне поступления в 7-й класс гимназии, или уже одновременно с поступлением. Скорее всего, это было именно одновременно, потому что, сколько я помню, кружок продолжал работать около двух учебных лет. То есть – 7-й и 8-й классы. До 7-го класса Лев Семенович занимался не в гимназии, а дома.

ГИМНАЗИЯ

В Гомеле было две гимназии: правительственная, или, как ее называли тогда, "казенная гимназия", и частная еврейская гимназия Ратнера. Всего в тогдашней России было пять-шесть таких еврейских гимназий. Атмосфера в казенной гимназии была довольно тяжелая, неприятная. Может быть, в какой-то степени даже и антисемитская. Во всяком случае, я помню, что когда я был в подготовительном классе, то умудрился получить годовую оценку по поведению "четверка" – это было равносильно двойке по любому другому предмету.

Помню, что я со слезами на глазах просил своих родителей, чтобы меня забрали из гимназии. Родители мне объяснили, почему надо учиться в гимназии, и я уж как-то прошел гимназический курс. А Лев Семенович в гимназии не учился.

Для того чтобы поступить в казенную гимназию, надо было выдержать четыре экзамена на все пятерки. Для Льва Семеновича это не могло представить никакой трудности, он был с детства настолько способным мальчиком, что тут не могло быть речи о каких-либо трудностях. Но, я думаю, родители не хотели отдавать его в гимназию, считая, что там и дух не тот, и времени он потеряет много зря. В гимназию Ратнера его не хотели отдавать, может быть, потому, что и она по своему оборудованию, и по всему прочему тоже была не на очень высоком уровне (иначе и быть не могло в то время). Лев Семенович занимался дома с учителем, сдавал экстерном за четыре класса, потом экстерном за шесть классов, а вот после шести классов ему уже пришлось поступить в гимназию Ратнера с тем, чтобы последние два года все-таки пробыть уже в гимназическом русле, иначе экзамены на аттестат зрелости экстерном были бы трудными.

Я думаю, что у Льва Семеновича был дома замечательный учитель. Ему не нужен был просто элементарный учитель. Но тот учитель, какой у него был, наверное, многое ему дал. Это был Соломон Маркович Ашпиз, по образованию математик, которому, однако, не удалось окончить университет. Он был исключен из университета за участие в студенческих, как тогда говорили, беспорядках. И не только исключен, но и сослан в Сибирь. Ашпиз был человек, на первый взгляд немножко медлительный, немножко ушедший в себя, а вместе с тем, когда он был в Сибири, для того чтобы встретиться с товарищем, тоже ссыльным, но сосланным в другое место, он прошел пешком шестьсот верст. Так что медлительность Соломона Марковича была только как бы внешней оболочкой. Я как сейчас помню рассказ о его разговоре с от-

цом. Отец уговаривает его бросить революционное движение: "К чему это тебя приведет?" Разговор шел на еврейском языке. Он отцу отвечает: "Дир арт фар самарер гоим? (то есть: "У тебя болит душа за самарских крестьян?") А у меня болит".

Несмотря на то, что он не окончил университет, его математические знания были очень глубоки. Он знал и все остальные предметы, во всяком случае, гимназический курс был для него вполне открыт. Ашпиз вел занятия и по курсу латыни, которую очень любил. Жил он уроками.

Соломон Маркович занимался педагогической работой особого рода. В те годы было очень распространено так называемое репетиторство. Если какие-нибудь дети не очень хорошо усваивали гимназический курс, приглашали репетиторов, которые натаскивали учеников. Соломон Маркович Ашпиз был человеком совсем другого склада. Ему отдавали только самых способных детей, с тем чтобы он их развил еще больше. И среди своих самых способных учеников он называл двоих. Вот его слова: "У меня было двое способных учеников - Беба Выготский и Фаня Добкина". "Беба" - это домашнее имя Льва Семеновича, так его в детстве называла няня, и это нянино имя осталось при нем на всю жизнь, близкие до конца жизни всегда называли его Беба.

Занятия с Соломоном Марковичем проходили так: сперва он что-то объяснял - вполголоса, медленно, почти без интонаций. Но слушать то, что он рассказывает, было всегда очень интересно. Потом наступал черед ученика - надо было ответить то, что было задано на предыдущем уроке. Соломон Маркович слушал нас, не перебивая, закрыв глаза или оттачивая остро карандаши. Порой казалось, что он дремлет, может быть даже уже и заснул. Но это только казалось. Как только вы кончали рассказ, он открывал глаза и задавал два-три вопроса - как раз те два-три вопроса, которые были связаны с двумя-тремя, может быть и небольшими, упущениями,

которые вы сделали во время рассказа. Причем вопросы задавались почти всегда в такой форме, чтобы вы на них ответили как на свои собственные вопросы, чтобы вы о них задумались. И сейчас же ученику становилось ясно, почти как будто без помощи Соломона Марковича, в чем он, ученик, ошибался.

Это умение пробудить в ученике живую мысль было у Соломона Марковича замечательное. Мне тоже пришлось учиться у Ашпиза, и я все испытал на себе. Думаю, что и Льву Семеновичу такие занятия тоже очень многое дали.

После того как был пройден курс шести классов, Выготский попал в гимназию Ратнера и последние два года заканчивал в гимназии. Надо вам сказать, что ситуация была довольно сложная. Во-первых, Лев Семенович воспитывался в почти исключительно женском обществе. Две сестры - одна немного старше, другая немного моложе, кружок, в котором единственным мальчиком был я, остальные все - девушки возраста сестер. Лев Семенович был очень дружен с Зинаидой Семеновной, той сестрой, которая и была вдохновителем создания кружка. И с самой старшей из детей - сестрой Анной Семеновной (Хаей) Лев Семенович очень дружил. Обе сестры были замечательными людьми. Это было такое соединение благородства и женственности, какое редко приходилось встречать.

Попасть из "женской атмосферы" в общество молодых людей седьмого класса, в общество юношей этого возраста, наверное, было не легко. Лев Семенович должен был бы чувствовать себя среди них в какой-то степени чужим. А вместе с тем он сразу же занял в гимназии, что называется, свое место, сразу же к нему установилось, я бы сказал, уважительное отношение, и учителя и товарищи сразу очень оценили его. В гимназии Ратнера уровень учеников был довольно высокий. Но и среди этих учеников Лев Семенович явно выделялся, поэтому и гимназисты и учителя относились

к нему хорошо – все понимали, что это человек недюжинных способностей. Это было видно сразу.

В те годы группа студентов и группа учеников гимназии Ратнера (их называли "ратники") организовали в Гомеле небольшой литературный журнал на русском языке. Он назывался "Заветы" и печатался в типографии. Выходил этот журнал в 1911 – 1913 годах – я думаю, один-два года, не больше. Авторами были, в основном, гимназисты. Тираж – несколько сотен экземпляров. Я не помню в этом журнале ни одной статьи Льва Семеновича. Вместе с тем я не сомневаюсь в том, что там такие статьи были, и думаю, что стоило бы поискать в библиотеках этот журнал и посмотреть, нет ли там каких-нибудь статей Выготского, может быть, под каким-то псевдонимом. Думаю, что, несмотря на псевдоним, его статьи всегда можно узнать и по теме, и по материалу, и по характеру языка.

Я уже говорил, что я на три с половиной года моложе Льва Семеновича. Казалось бы, когда мне было двенадцать, а ему пятнадцать, или мне тринадцать, а ему шестнадцать, разница между нами должна быть как будто очень велика, но дружба сестер так сблизила обе семьи, что она перешла в дружбу родителей, а потом в дружбу между остальными детьми, и фактически у нас с Львом Семеновичем было много общих интересов и помимо кружка. Один из этих интересов связан с собиранием марок – почти повальным детским увлечением и сейчас, и тогда. Само собирание марок, конечно, чрезвычайно интересное занятие. Но в нашем случае на него наслонилось еще одно обстоятельство. Оно связано с двоюродным братом Выготского – Давидом Исааковичем. Он был старше Льва Семеновича – очень глубокий человек, замечательный лингвист, филолог. Он был человеком очень широкой мысли, прекрасной души, большого ума и глубоких знаний, не только ученый, но и любитель поэзии и сам немножко поэт.

Давид Исаакович дружил с Виктором Шкловским⁶ и Романом Якобсоном⁷. О нем очень хорошо вспоминала Мариэтта Шагинян в своих автобиографических записках. Думаю, что, будучи очень не рядовым человеком, он оказался одним из тех, кто оказал большое влияние на Льва Семеновича.

Давид Исаакович в те годы учился в Петербургском университете на филологическом отделении и был близок к группе, которая называлась ОПОЯЗ⁸ – "Общество изучения поэтического языка". Самым ярким представителем этой группы был Виктор Шкловский, самым талантливым представителем – наверное, Роман Якобсон. Из остальных участников назову Эйхенбаума⁹.

Давид Исаакович был эсперантистом. Эсперанто по идее должен был стать международным языком для научного общения, а может быть и для другого общения, но фактически получилось так, что в значительной степени эсперанто превратилось в язык молодежного общения – обмена марками, открытками и тому подобными вещами. У эсперантистов была определенная система: в каждом городе, где были эсперантисты, выбирался (так называлось на эсперанто) "делегито" – делегат, что-то вроде уполномоченного. Давид Исаакович был "делегито" в Гомеле. Список уполномоченных, этих самых "делегито", со всего мира ежегодно издавался в виде отдельного томика. Как сейчас помню эту книжечку в зеленой обложке.

Через Давида Исааковича мы с Львом Семеновичем тоже приобщились к эсперанто и к обмену марками. Так как Давид был уже намного старше меня, я его до этого почти не знал, только шапочно был знаком – следовательно, увлечение эсперанто и марками перешло от Давида к Бебе, от Бебы ко мне.

Мы затевали переписку с эсперантистами из других городов, находили их адреса по этой книжечке, и таким образом у нас на увлечение филателией наслонилось еще увлечение эс-

перанто, и для нас эсперанто и марки, вместе взятые, как-то открыли мир, географический мир. Я сейчас расскажу немножко о том, что не имеет прямого отношения к Льву Семеновичу, но в какой-то степени показывает ту атмосферу, в которой проходили эсперантистские увлечения.

Я помню, Лев Семенович выбрал себе первым корреспондентом юношу-исландца. Его заинтересовал скандинавский север. Я же решил выбрать корреспондента-итальянца, мне хотелось немножко приблизиться к Возрождению. Я подумал, что лучше всего выбрать корреспондента из Тосканы. Не из Флоренции (мне казалось, что это будет уже что-то более современное). Я решил найти корреспондента из Сиены, написал сиенскому "делегито" письмо и получил от него через несколько времени ответ, в котором он спрашивал меня о том, кто я такой и что собой представляю. Я ответил, что я гимназист четвертого класса, а через некоторое время получил ответ уже от другого эсперантиста. Ответ примерно следующий: "Мой учитель, аббат такой-то и такой-то, думает, что я буду для вас более подходящим корреспондентом, чем он". Это был мальчик моих лет, и мы с ним очень хорошо переписывались.

Второго корреспондента я выбрал в далекой Новой Зеландии. Я написал ему и получил ответ такого характера, что он просит меня иметь в виду, что письма от него часто будут приходиться с опозданием. Дело в том, что он капитан парохода, который курсирует между Австралией и Индией. И если письмо придет в то время, когда он в рейсе, он его, конечно, получит с опозданием. Несмотря на то, что он был капитаном, а я – гимназистом, наша переписка шла очень хорошо, и на следующий год он написал мне, что ему предстоит особый рейс – в Лондон. От Новой Зеландии это далеко, но от России совсем недалеко, и он приглашает меня приехать в Лондон с ним познакомиться. Я страшно этим делом загорелся, мне очень захотелось с ним повидаться, но примерно к этому

времени началась Первая мировая война. Думаю, что и без Первой мировой войны я тоже не попал бы в Лондон, но, во всяком случае, война точно помешала.

Вся атмосфера эсперантизма, очень широкое общение со всем миром, по-моему, оказали заметное влияние на Льва Семеновича. По крайней мере, на меня это оказало большое влияние, поэтому я думаю, что и для него наше увлечение марками и эсперанто не прошло бесследно.

Второе, что нас объединяло, – шахматы. Теории тогда не знали, играли только по своему умению и соображению. Давид Исаакович любил шахматы, и Лев Семенович любил и хорошо играл, но не увлекался ими как-нибудь свыше меры. Что Выготский любил уже с отроческих лет – это стихи и театр. И эта любовь у него осталась на всю жизнь.

Я вам говорил о том, что у нас с Львом Семеновичем темой бесед, как правило, были мировоззренческие вопросы. А вместе с тем иногда прорывалось что-то совершенно подростковое. Ну, например, однажды мы разговаривали, кажется, об одной из пьес Шоу, и речь зашла о кодексе английского джентльмена. И вот Лев Семенович мне говорит: "Какие у англичан правила чести? Человек попал в чужой город, он остановился в гостинице, спутал свой номер, открыл другую дверь, и там, в комнате, дама переодевается. Как перед ней надо извиниться? Надо сказать: "Извините, сэр". Вот это будет правильное извинение".

УНИВЕРСИТЕТСКИЕ ГОДЫ

В 1913 году Лев Семенович окончил гимназию. Экзамены были, так называемые, "депутатские". В частных гимназиях на экзаменах, которые сдают на аттестат зрелости, должен был присутствовать депутат – представитель учебного округа. Обычно это был кто-нибудь из преподавателей казенной гим-

нази. Они относились к частным гимназиям с некоторым предубеждением, в какой-то степени даже с ревностью: "А как у вас проходят? – А как у нас проходят?" Экзамены были очень трудные. Как правило, они кончались в конце июня. В это лето мы и Выгодские жили на даче, в Белице, тогда пригороде Гомеля. Теперь это уже часть города.

Льву Семеновичу осенью должно было исполниться 17 лет. В то время порядок поступления в высшие учебные заведения был такой: для евреев была процентная норма. В большинстве учебных заведений была пятипроцентная норма, а в Московском и Петербургском университетах – трехпроцентная. Поэтому для того чтобы еврей наверняка поступить в университет, нужно было окончить гимназию с золотой медалью. Если вы кончали с серебряной медалью (если была хотя бы одна четверка – это лишь серебряная медаль), вы могли поступить, а могли и не поступить, в зависимости от того, как сложится конкурс. Ну, а без медали рассчитывать на поступление в высшие учебные заведения евреям не приходилось. Лев Семенович, конечно, шел на золотую медаль, и это не должно было представлять никакого труда. Но именно в то время, когда он сдавал депутатские экзамены на аттестат зрелости, произошло следующее: министр народного просвещения Кассо издал циркуляр, по которому абитуриенты-евреи должны были приниматься в высшие учебные заведения не по конкурсу аттестатов, а по жеребьевке. Смысл этого нововведения заключался в том, чтобы в высшие учебные заведения поступали не более способные еврейские юноши, а обычные, рядовые, которые себя в дальнейшем ничем не проявят.

Как сейчас помню – я зашел на дачу к Выгодским, мы сидим на крыльце, и Лев Семенович показывает мне газету, которая пришла в этот день, и в которой было сообщение об этом циркуляре министра. Лев Семенович говорит: "Ну, теперь мне никуда хода нет". Меня это страшно взволновало – мне казалось настолько несправедливым лишить Льва Семе-

новича возможности поступать в университет, что я совершенно искренне сказал: "Это чудовищно несправедливо и этого не может быть. Ты, Беба, попадешь в университет!" Он очень любил пари. "Хочешь пари?" - говорю я. "Хочу". - "На что?" - "На хорошую книгу". - "Ну, хорошо". Вот мы и заключили такое пари.

Я думаю, Льву Семеновичу было очень трудно держать экзамены, после того как он узнал, что поступать в университет придется не по конкурсу аттестатов, а по жеребьевке. Но несмотря на то, что это было трудно, он не сорвался, а с прежним вниманием продолжал относиться к экзаменам и, конечно, свою золотую медаль получил. Настроение у него было невеселое, и настроение во всей семье было такое же, да и чего можно было ожидать. Но все-таки он подал, конечно, свои документы в Московский университет, причем, по настоянию родителей, на медицинский факультет. Тогда считалось, что самая обеспеченная профессия для еврейского молодого человека - это профессия врача. Как моя мама говорила, врач - это "брейт мит крупник", то есть всегда будет иметь на хлеб и крупяной суп. За несколько дней до начала учебного года получают Выгодские от своих друзей из Москвы телеграмму, что Лев Семенович по жеребьевке принят в университет - то есть произошло почти невероятное! В тот же день он подарил мне на память книгу стихов Бунина с надписью: "Дорогому Сеничке на память о проигранном пари. От Бебы. 9-X-13 г." Думаю, что Лев Семенович никогда больше так не радовался проигранному пари, как в тот раз.

Через несколько дней Лев Семенович уехал в университет, а еще через две или три недели он увидел, что медицина все-таки никак не может его заинтересовать, и перешел на юридический факультет, который его тоже не очень интересовал. Юридический диплом, конечно, давал ему возможность какой-то карьеры, адвокатской например, но его больше интересовали совсем другие вопросы. Одновременно с поступле-

нием в Императорский университет, Выготский начал учиться в Народном университете имени Шанявского, на историко-философском отделении.



Книга, подаренная
Л.С. Выготским,
с его автографом

Хотя университет Шанявского назывался "народным", это было настоящее высшее учебное заведение в полном смысле этого слова, причем свободное, вольное. Каким образом получилось, что Университет имени Шанявского стал настоящим большим университетом? Произошло это следующим образом.

Кажется, в 1911 году в Московском университете начались студенческие волнения. Тогда существовало, или, может быть, правильнее сказать в какой-то степени существовало, понятие университетской автономии. В связи с этой ав-

тономией властям не полагалось вводить в университет полицейских. А по настоянию министра Кассо в Московский университет были введены полицейские, жандармы. Тогда студенты объявили забастовку. После этого несколько сотен студентов были исключены из университета. Протестуя против нарушения университетской автономии и массового исключения студентов, многие профессора и преподаватели Московского университета ушли из него. Большая часть из них нашла приют именно в Университете имени Шанявского, и среди них такие выдающиеся ученые, как Чаплыгин, Жуковский, Сакурин. Одним словом, весь цвет московской профессуры ушел именно в университет Шанявского. Лев Семено-

вич на протяжении нескольких лет одновременно учился в обоих университетах.

Прежде чем рассказать о Выготском в студенческие годы, хочу сказать о двух его увлечениях. Хотя это были не просто увлечения, это было нечто гораздо большее – даже не знаю, как назвать. Страсть – это не то слово, и увлечение – не то слово. Поэзия и театр. Стихи и театр. В Гомеле постоянного театра не было, но на летнее время приезжала труппа, которая давала спектакли в помещении летнего театра. Труппа была неважная всегда, конечно, но, может быть, один или два артиста попадались интересные (Орленев, Каминская¹⁰). И вот, несмотря на невысокий класс и гастролирующих трупп, и самого театра, Лев Семенович не пропускал ни одного нового спектакля. Думаю, что причиной служило еще и то, что он время от времени писал рецензии на эти спектакли. Я думаю, что если в гомельских газетах, начиная примерно с 12-го по 16-й год посмотреть, то, наверное, можно будет найти не одну его рецензию, а они всегда были интересными.

В Москве, конечно, его пристрастие к театру еще больше возросло и получило настоящее удовлетворение. Первый театр, который он полюбил, был Московский художественный. В те годы это была настоящая школа жизни. Такие спектакли, как "Брандт", как пушкинский спектакль "Маленькие трагедии", как "Братья Карамазовы", "Николай Ставрогин", действительно, заставляли о многом задуматься. "Гамлет" глубоко интересовал Льва Семеновича еще с гимназических лет. Еще в те годы Лев Семенович начал писать этюд, очерк о "Гамлете", который он потом назвал "читательской критикой". Я как сейчас помню тетрадь, в которой велись эти записи. Но он никому не показывал их – не только мне, но и своим близким. В 1915 году, то есть уже после того, как он увидел "Гамлета" в постановке на сцене, он этот этюд дописал до конца. В 1916 году этот этюд был написан

в другой редакции (напечатана именно вторая редакция), но сохранилась и первая. Мне представляется, что эта работа в значительной степени авиобиографическая - в ней Лев Семенович выразил себя самым открытым и полным образом. В дальнейшей научной работе все его труды не могли иметь такого личного характера, ина мой взгляд, очень интересно изучить, а может быть и издать, и первый вариант "Гамлета". Я думаю, что он сохранился в архиве Льва Семеновича и находится сейчас у его дочери - Гиты Львовны. У меня вообще такое впечатление, что в этом архиве можно найти многое из того, что нам неизвестно. Может быть, когда я говорю "много", я преувеличиваю, а может быть и нет, но кое-что там, наверняка, найти можно.

У Льва Семеновича написано два этюда о "Гамлете" - один 1915 - 1916 годов, а другой как глава в "Психологии искусства". Так вот, я думаю, что полнее всего причина интереса Льва Семеновича к "Гамлету" видна из того этюда, который опубликован как отдельная работа.

В "Психологии искусства" разбираются три вида литературных произведений: басня, новелла и трагедия. Басня совершенно вывернута наизнанку. В басне оказывается дело не в морали, а совсем в другом. В нашем издательстве "Века и Дни" (о котором я расскажу позже) должна была выйти небольшая книжка Выготского, которая называлась "Похвала ослу". Это был как бы остов последующей его работы о басне.

Как образец новеллы Лев Семенович выбрал "Легкое дыханье" Бунина¹¹, которого очень любил, и этот том, в котором "Легкое дыханье" (рассказы 1912 - 1916 годов), считал лучшим. Это, действительно, было лучшее из того, что Бунин к тому времени опубликовал. А "Легкое дыханье" - пожалуй, в этом томе самый лучший рассказ, несмотря на то, что там есть и более как будто яркие вещи, вроде таких, как "Господин из Сан-Франциско". Действительно, "Легкое дыханье" -

это совершенно особая вещь, в ней очень хорошо показано, как искусство преодолевает материал. Это основная идея Выготского.

Третья часть – это, в сущности говоря, философия трагедии. И здесь видно, что трагедия, в понимании Льва Семеновича, занимается, если можно так сказать, вопросами потусторонними, что истоки трагедии, корни ее – не в этом мире, трагедия не может быть объяснена ни логически, ни каким-либо другим способом. Это было сказано в первом варианте этюда о "Гамлете". Но я думаю, что во всех вариантах это осталось. Может быть, позднее Выготский эту мысль как-то ослаблял, потому что человек меняется – ведь годы идут, и они что-то привносят: другая эпоха, другое понимание чего-то. Но самое первое понимание "Гамлета" как трагедии необъяснимой, непостижимой у него было с юных лет, и поэтому ему "Гамлет" был так дорог. Действительно, ни в одной другой шекспировской трагедии такого покрова тайны на произведении нет. Возьмите "Короля Лира" – там как-то понятно, что к чему идет; "Ромео и Джульетта" – понятно, что к чему идет; "Макбет" – понятно, "Шейлок" – понятно. А "Гамлет" – безусловно, какая-то особая материя. Возможно тут есть и какой-то элемент случайности, может быть, если бы в то время, как Лев Семенович об этих вещах думал, ему попался бы не "Гамлет", а какая-нибудь другая такая же темная, непонятная, "алогическая" вещь, может быть, тогда именно она и заинтересовала бы его, но так сложилось, что попался именно "Гамлет". В конце концов, произведений ранга "Гамлета", если можно так выразиться, не так много в литературе, так что не так много вещей могло бы ему попасться. Но я себе вполне могу представить, что если бы ему попались в тот момент "Бесы" Достоевского, то Николай Ставрогин ему показался бы не менее алогичным. Я думаю, что,

может быть, из Достоевского это самое алогичное. В комментариях к "Гамлету" Выготский вспоминает Достоевского.

В 1915 году в Москве появился новый театр – Камерный, которым руководил Таиров. Это был театр совсем другого склада, совсем непохожий на Художественный театр, конечно, в значительной степени связанный с символизмом, а может быть, и вообще с другим пониманием того, что собой должен представлять театр по сравнению с теорией Станиславского. Лев Семенович очень увлекся Камерным театром. В особенности большое впечатление произвела на него постановка пьесы Иннокентия Анненского "Фамира – кифаред"¹².

С театром были связаны и некоторые московские знакомства Выготского. Он сблизился с Николаем Эфросом – в то время, пожалуй, крупнейшим из московских театральных критиков. Через Николая Лев Семенович познакомился с Абрамом Эфросом¹³, художественным критиком. Благодаря ему, Лев Семенович познакомился и с живописью Гогена, и с книгой Гогена "Ноа-ноа", и с творчеством Марка Шагала, которое на него произвело огромное впечатление. Во всяком случае, я помню его рассказы и о Гогене, и о Шагале, произведения которых я тогда еще не мог видеть. Он говорил о них как об очень крупных явлениях искусства.

Вторая большая страсть Льва Семеновича – это стихи. Сколько я его помню в гомельские годы, всегда, даже в разговоре, он вспоминает какие-то стихи, читает их. Читал замечательно. Любая пауза в разговоре – и он читал стихи. Он никогда не делал это громко, всегда – тихо, вполголоса, почти как бы про себя, а вместе с тем замечательно выразительно.

Я бы сказал так, что для Льва Семеновича окончание гимназии и поступление в университет – это большой этап: конец гомельской жизни, выход из достаточно узкого круга в более широкий мир.

Классической философией Выготский занимался очень много и очень много в этой области сделал. До конца жизни он работал над книгой о Спинозе, но не успел ее закончить. П.Я. Гальперин опубликовал в журнале "Вопросы философии" отрывок из этого труда - раздел о Декарте - замечательный философский труд. Замечательный! На мой взгляд, П.Я. Гальперин очень хорошо сумел нащупать в этой незавершенной вещи самые главные идеи Льва Семеновича, сумел их так подчеркнуть, чтобы они стали более ясными. Спиноза интересовал Выготского с ранней юности. И иудаизм. Под иудаизмом часто подразумевают еврейскую религию, а часто - иудейскую философию, иудейское мировоззрение. Последнее мне представляется более правильным. И вот мне кажется, что Спиноза, который был отлучен от сефардской общины, был в действительности очень ярким и глубоким представителем иудаизма. Я уже говорил, что, по моему мнению, одним из корней мировоззрения Выготского является иудаизм. Иначе это и быть не может. Думаю, что национальность каждого человека очень многое определяет. Национальность высококатолического человека определяет еще дольше, национальность человека, о котором В.В. Иванов сказал - "с чертами гениальности" (я не хочу ничего усиливать), еще больше определяет.

Выготский получил неплохое еврейское образование. В то время было принято в еврейских семьях мальчикам и даже девочкам (девочкам в меньшей степени, а мальчикам в довольно большой степени) давать еврейское религиозное образование. В большинстве случаев это носило характер клерикальный, узкий. Смысл был следующий: надо было подготовить мальчика к тому, чтобы он мог по субботам или по праздникам молиться в синагоге, потому что, когда он вырастет, надо же все-таки в праздники ходить в синагогу - в общем, так, чтобы он имел какое-то знакомство с еврейской религией.

Обычные учителя этих еврейских молитв (их называли ребе, или меламед; ребе – это было что-то такое более высокое, чем меламед) были людьми малообразованными, неглубокими знатоками еврейской культуры и даже религии. Льву Семеновичу в этом смысле повезло. Он занимался с очень хорошим, образованным и в общем, и в еврейском смысле человеком. Могу это сказать, потому что я тоже с этим человеком занимался и знаю, как он умел ответить – интересно, содержательно – на каждый вопрос, который возникал у нас.

В 13 лет у евреев наступает религиозное совершеннолетие. Этот день называется бар-мицва. "Бар" – это сын, "мицва" имеет несколько смыслов: в бытовом языке это "доброе дело", а в буквальном смысле это – "долг"; первое значение "мицва" – это "долг". Значит, "сын долга", "сын доброго дела", то есть человек, который за себя отвечает. Считается, что с этого дня мальчик уже ответственен реально за свои поступки. До этого времени за него перед Богом отвечают его родители. В этот день полагается, чтобы в торжественной обстановке мальчик произнес речь. По-еврейски это называется "дроша" – буквальный перевод это именно "слово", "речь". Обычно эту речь составляет ребе, учитель, и мальчик ее только выучивает и читает. Речь произносят на иврите, или, как тогда говорили, на древнееврейском. Лев Семенович сам составил эту речь. И отлично справился с этой задачей. Тема его была не клерикальная, а, я бы сказал, историко-моральная.

Лев Семенович хорошо знал Библию. Я думаю, что философские книги Библии были для него значительным явлением. Иначе и быть не могло: ну как Книга Иова может быть незначительна для человека, который ее хотя бы один раз прочитал? Иначе же быть не может. Как "Притчи Соломоновы" могут быть незначительны для человека, который хоть раз их прочитал? А Лев Семенович их прочитал.

Я уже говорил, что Выготский очень любил стихи. Первым любимым поэтом был Пушкин. Но стихи, которые он особенно любил, были не те стихи, которые обычно нравятся. Я не помню, чтобы он читал, например, любовную лирику Пушкина. А вот такие стихи, как "Сцена из Фауста" ("Мне скучно, бес") или "Маленькие трагедии", его глубоко волновали. А из "Маленьких трагедий" больше всего - "Пир во время чумы". Как он умел найти самое главное! Вот вы помните, как начинается "Моцарт и Сальери"? "Все говорят: нет правды на земле. Но правды нет - и выше. Для меня так это ясно, как простая гамма". Дальше идет большой монолог, он продолжается и весь связан, но Лев Семенович на этом месте ставил точку. Дальше он не читал. Это было самое важное. Именно такая философская поэзия его интересовала даже в Пушкине. Вы помните у Пушкина "Подражание Корану", "Стамбул гяуры нынче славят"? Вот эти вещи ему очень нравились. Из чистой лирики я помню - но это уже в более позднее время, уже в студенческие годы - стихотворение "К жене", которое при жизни Пушкина не публиковалось. Оно начинается словами "Нет, я не дорожу..." Как-то мы с Львом Семеновичем говорили о том, что делает искусство. И Лев Семенович говорит: "Вот смотри, в стихотворении этом - он мне сразу его прочел, а читал он прекрасно, - точное описание полового акта, но ты посмотри, как искусство сделало все это одухотворенным и совсем другим".

В общем, он особенно любил вещи, которые, скорее, относятся к философской поэзии.

Второй любимый поэт Льва Семеновича - Блок¹⁴. Что Лев Семенович любил у Блока? Особенно ему нравились "Стихи о Прекрасной даме", "Итальянские стихи" ("Строен твой стан, как церковные свечи..."), "Девушка пела в церковном хоре...", "На железной дороге", "Незнакомка", "О доблести, о подвигах, о славе я забывал на горестной земле...".

"Роза и Крест" произвела на него очень большое впечатление. Как сейчас помню, как он читает:

*Всюду беда и утраты. Что тебя ждет впереди?
Ставь же свой парус косматый,
Меть свои крепкие латы знаком креста на груди.
Ревет ураган,
Шумит океан,
Кружится снег,
Мчится мгновенный век,
Снится блаженный брег.*

Ему всегда было достаточно небольшого отрывка. В этом отрывке для него все уже было сказано, остальное он мог уже и не читать дальше. "Итальянские стихи" – это тоже философские стихи. В них трагические мотивы особенно сильны. Я уже говорил о том, что Льву Семеновичу нравилось у Пушкина. Я думаю, что в этом сказалось его мирозерцание, которое, с моей точки зрения, конечно, было трагическим, оно уже тогда сложилось в какой-то степени.

Потом Тютчев¹⁵. Самое любимое одно из последних тютчевских стихотворений:

*Чему бы жизнь нас ни учила,
Но сердце верит в чудеса:
Есть нескудеющая сила,
Есть и нетленная краса.
И увядание земное
Цветов не тронет неземных,
И от полуденного вноя
Роса не высохнет на них.
И эта вера не обманет
Того, кто ею лишь живет,
Не все, что здесь цвело, увянет,
Не все, что было здесь, пройдет!*

Какое у вас впечатление? Я прочитал все стихотворение? На самом деле, в стихотворении есть еще две строфы. Но последние две строфы – это обращение к женщине, которой стихотворение посвящено. Эти строфы совсем неплохие, но они, как бы вам сказать, не добавляют ничего главного, и Лев Семенович этих двух последних строф никогда не читал. Для меня было открытием, когда я увидел в книге Тютчева еще эти две строфы.

Это характерно для Выготского: ему ничего лишнего не нужно было. Из монолога Сальери – первые две строчки. И дальше – опять ничего. Из "Каменного гостя" одна строчка: "Вдова должна и гробу быть верна!" И вот так, даже иногда какой-то одной строчкой Лев Семенович, выражал свое отношение к вещи. В "Пире во время чумы" – песня Мери.

Немного позже самым дорогим и близким для него поэтом стал Иннокентий Анненский. И опять хочу вам прочитать одно стихотворение, пожалуй, самое любимое им.

*Не мерещится ль вам иногда,
Когда сумерки бродят по дому,
Тут же рядом иная среда,
Где живем мы совсем по-иному.
С тенью тень там так мягко слилась,
Там бывает такая минута,
Что лучами незримыми глаз
Мы друг в друга уходим как будто.
Но едва запылает свеча,
Чуткий мир уступает без боли.
Лишь из глаз по наклону луча
Тени в пламя летят голубое.*

Он умел находить у поэтов замечательные строки, даже у поэтов, которые, казалось бы, не должны были быть ему близкими или были вообще не очень талантливы.

Например, у Саши Черного¹⁶ – чудесного поэта-сатирика – Лев Семенович любил его совсем не сатирическое стихотворение "Больному". А на самом деле это, может быть действительно, самое глубокое и лучшее из того, что Саша Черный написал:

*Есть горячее солнце,
Есть наивные дети,
Драгоценная радость мелодий и книг.
Если нет, то ведь были,
Ведь были на свете
И Бетховен, и Пушкин, и Гейне, и Грэг.*

Николай Гумилев¹⁷. Ранние романтически-экзотические его произведения мало трогали Льва Семеновича. Но вот драматическая поэма "Гондола", навеянная исландскими сагами, была уже ближе ему. (О его интересе к скандинавскому северу я уже говорил.) А сборник стихов "Огненный столп", вышедший уже после расстрела Гумилева, был с любовью прочитан Львом Семеновичем. Он часто читал строки из стихотворения "Шестое чувство":

*Прекрасно в нас влюбленное вино
И добрый хлеб, что в печь для нас садится,
И женщина, которую дано,
Сперва измучившись, нам насладиться.
Но что нам делать с розовой зарей
Над холодеющими небесами,
Где тишина и неземной покой,
Что делать нам с бессмертными стихами?
Ни съесть, ни выпить, ни поцеловать.
Так, век за веком — скоро ли, Господь? —
Под скальпелем природы и искусства
Кричит наш дух, изнемогает плоть,
Рождая орган для шестого чувства.*

Был поэт, совсем небольшой и сейчас совершенно забытый, – Константин Липскеров¹⁸. Лев Семенович очень любил некоторые его стихи.

*Всех спеши полюбить,
Ибо все преходяще и пленно.
Всех спеши полюбить,
Ибо люди проходят как сон.
Ты врага обними –
Пусть вражда отлетает мгновенно:
Как обнимешь его,
Если скажут, что он погребен?*

Еще один отрывок из Липскерова:

*Я был владыкой милости и страха,
От рыб до лун мой простирался стяг.
Передо мной склонялся гордый враг
И ждал жезла прощающего взмаха.
И вот на диком острове я наг,
И я безвестней жалкого феллаха.
Да, как песок меж пальцами Аллаха,
Проходят дни и почестей и благ.*

Как видите, Лев Семенович всегда находил философские стихи.

Был в то время поэт очень красивых, но не очень глубоких стихов. Это Виктор Гофман¹⁹. У него есть замечательное стихотворение о встрече Нового года, такое фантастическое, которое кончается словами:

*Я наполню свой кубок сверкающий
И забуду, что я живой.
Я один на земле умирающий,
Всем ненужный и всем чужой.*

Клюев²⁰ это уже немножко позже, это уже в первые годы революции. У Клюева есть стихотворение о том, как "Мать – Пресвятая Богородица по всей земле ходила, все дома посетила, в одно село пришла". И в этом селе ее встретили недружелюбно. Тогда за нее заступился пророк Илья:

*Гневлив пророк Илья.
По облачной дороге,
На огненной телеге
Помчался он в тревоге.
У коней в вольном беге
По грому на ноге.*

Эта картина грозы Льву Семеновичу казалась замечательной, и мне тоже кажется, что она, действительно, превосходна. Из Клюева ему очень понравилось: "Есть в Ленине керженский дух, игуменский окрик в декретах".

Пастернака он знал позже, и Маяковского, и Есенина – но думаю, что Есенин и Маяковский его не очень увлекали.

В первый год революции появилась "Мистерия-буфф" Маяковского. И вот из "Мистерии-буфф" Льву Семеновичу очень нравилось: "Кому – бублик, кому – дырка от бублика, – это и есть демократическая республика". Но вообще Маяковский был довольно далек от него.

А Пастернака он очень любил. Пастернака и Мандельштама. Причем из Мандельштама у него есть даже замечательная цитата, на самом деле замечательно созвучная самому Выготскому. Она, по-моему, взята эпиграфом к одной из глав в "Мышлении и речи"²¹.

Лев Семенович очень хорошо понимал и ценил настоящую художественную литературу. Я уже говорил, что ему особенно нравилась книга Бунина – рассказы 1912 – 1916 годов. Большое впечатление на него произвел роман Андрея Белого "Петербург". Он считал, что ко времени появления этой кни-

ги из русских романов XX века это – самое крупное, самое значительное произведение. Думаю, что это мнение тоже было глубоко выношенным.

ПУТЬ К ПСИХОЛОГИИ

Как пришел Выготский к психологии? Мне представляется, что Лев Семенович был прежде всего – мыслителем. В полном смысле этого слова. И психология – только частная область, в которой он себя как мыслитель проявил. Вернемся немножко назад. Двумя писателями, которыми он особенно интересовался, были Лев Толстой и Федор Достоевский. Толстой, главным образом, в связи с его философией истории, а Достоевский – ну, понятно, чем Достоевский был. Пожалуй, особенно у Достоевского для него были важны две книги – "Идиот" и "Бесы". В "Бесах" его совершенно не интересовали те, кого Достоевский называл "бесами", а интересовал, конечно, только Николай Ставрогин. В "Братьях Карамазовых" – "Легенда о Великом Инквизиторе".

В связи с этим Льва Семеновича привлекла книга Розанова²² о Великом Инквизиторе. Причем он считал, что в тот момент, когда книга была написана, она уже отошла от автора, и этот совершенно ничтожный и подлый человек – Розанов – для него не существует, а существует действительно замечательная книга. Я до сих пор не могу понять, как такую книгу такой человек мог написать. Повторяю: у Выготского интерес к философии сохранялся все время, он кончил историко-философское отделение в университете имени Шанявского, причем блестяще кончил.

И все-таки, я думаю, что его занятия психологией начались с Достоевского. Думаю, что такой глубокий анализ, вернее, – такое углубленное исследование психической жизни людей, причем экстремальной жизни, конечно, захватывал Льва

Льва Семеновича, для него Достоевский был очень важным и значительным мыслителем, а не только писателем.

Кстати, по этому поводу могу еще сказать, что Достоевского в какой-то степени мне было трудно читать. И до сих пор трудно. Думаю, что Льву Семеновичу по той же самой причине в определенной степени читать Достоевского тоже было трудно - у Достоевского почти в каждом крупном произведении, я не говорю уже о его публицистике, а говорю лишь о литературных произведениях, - почти в каждом! - есть какая-нибудь попытка унижить евреев.

Вот, например, в "Преступлении и наказании" - площадь, где стоит пожарная каланча. Свидригайлов вынимает револьвер и хочет там застрелиться. К нему подбегает дежурный пожарник - им оказывается, еврей, - и говорит, коверкая русские слова, примерно так: "А-зе, сто-зе вам и здесь на-а-до? А-зе, сто-зе, эти сутки (шутки) здесь не места!" Это "а-зе здесь не места!" Совершенно, как бы вам сказать, для сюжета это не требуется, этого не нужно! Достоевский все-таки не удержался и ввел пожарника-еврея, несмотря на то, что это никак не вяжется с реальностью. В Петербурге евреи не имели права жительства, за исключением евреев, имевших высшее образование, или каких-нибудь петербургских первой гильдии купцов, которых было очень немного, и там такой полуграмотный еврей не мог появиться. А если бы он появился каким-нибудь чудом, то он бы не был пожарником, а был бы кем-нибудь другим. Не подходит этому слабому физически народу трудная работа пожарника. Не подходит. Тем не менее Достоевский не удержался. Ну, так здесь - пустычок, в других местах хуже.

Вместе с тем Достоевский не хотел, чтобы его считали антисемитом. Он получал письма от своих читателей-евреев, которые спрашивали его, откуда у него этот антисемитизм, что это такое. И вот одному из них, Ковнеру²³, он ответил, что он совсем не враг евреев, но что евреи за сорок веков исто-

рин сделались "статус ин статус", то есть государством в государстве, и настолько замкнулись, что у них свой особый мир. Достоевский подчеркнул, что к нему приходят евреи и еврейки и советуются с ним и т.д. Лев Семенович написал, я думаю, еще в гимназические годы (осталась синенькая школьная тетрадка, исписанная мелким почерком) статью, в которой он тоже пытается объяснить, что на самом деле Достоевский не был антисемитом. Эта статья сохранилась. Она, с моей точки зрения, неубедительна, но это неважно. Важно то, что Лев Семенович хотел это доказать, что ему это было важно.

Достоевский был, может быть, первый человек, который разбудил в нем глубокий интерес к психологии, подтолкнул его. Ведь его продолжали интересовать проблемы, которые были и философскими, и, в еще большей мере, психологическими, – вопрос о смысле жизни, о том, что в жизни ценно, о ценности искусства, о том, как искусство преображает мир и людей.

Это уже, конечно, путь к психологии. Но было и еще несколько книг, которые Льва Семеновича глубоко заинтересовали и тоже, наверное, в какой-то степени определили направление его научной деятельности. Первой из них, конечно, было "Многообразие религиозного опыта" В. Джемса. Лев Семенович прочитал ее с большим интересом – это уже было в его студенческие годы. Он обычно оставался в Гомеле некоторое время и после студенческих каникул. Потом он эту книгу мне передал. Я ее прочитал, и меня она несколько удивила странным набором материала. Незадолго до этого я прочитал книгу Герье о Франциске Ассизском, о том, что у Франциска так сильны были мысли о муках Христа, что у него появились стигматы. Написана книга Герье очень убедительно. Но в ней очень много материала связано с такими людьми, как Блаватская, Анни Безант. Это люди наверняка очень сомнительные в смысле их религиозного опыта. И мне

захотелось узнать, что же здесь правда, а что неправда. Я спросил у Льва Семеновича, как он считает, и меня удивил его ответ. Он ответил примерно так: что может быть так, а может быть и не так. То есть, несмотря на то, что мы относимся к спиритам как к шарлатанам, может быть, тут что-то и есть. Я сперва даже подумал, что он просто не хочет со мной на эту тему подробнее говорить, а потом убедился в том, что это действительно во многих трудных случаях его точка зрения: что может быть так, а может быть и этак. А то, что у Франциска могли появиться стигматы, в этом он не сомневался.

Лев Семенович уехал в Москву, а я достал курс психологии Джемса, мне захотелось познакомиться с этой областью. Меня в прочитанной книге поразили те вещи, которые, конечно, сейчас уже никого не удивляют, а тогда казались парадоксальными: что, например, летом мы научаемся кататься на коньках, а зимой – плавать и т.д. Когда Лев Семенович вернулся, я с ним на эту тему поговорил. Оказалось, что и он тоже за это время прочитал курс психологии Джемса и тоже обратил внимание на эти вопросы, но они ему в то время показались не парадоксальными, а действительно обоснованными. Например, это самое знаменитое утверждение, что мы не потому плачем, что нам грустно, и не потому смеемся, что нам весело, а наоборот – нам грустно потому, что мы плачем, и весело потому, что смеемся.

Вторая книга, которая глубоко заинтересовала его, это "Психопатология обыденной жизни" Фрейда. Я помню его точку зрения, когда мы обсуждали с ним эту книгу: вообще говоря, в основном все действительно так, как написано у Фрейда, но вытеснение происходит и в других областях. Эти две книги и до сих пор знамениты и пользуются широкой известностью.

Третья книга – это книга Христиансена "Философия искусства", нынче уже почти забытая. Но я думаю, что если ее

и теперь перечесть, то в ней найдется много нового и "хорошо забытого" старого. Мне представляется, что взгляды Выготского на искусство в большой мере были созвучны именно Христиансену.

В студенческие годы Лев Семенович написал целый ряд статей, которые были опубликованы в различных изданиях, иногда очень крупных, авторитетных, вроде горьковской "Летописи", иногда в изданиях мелких. Думаю, что в эти годы им написано также большое количество театральных рецензий. Они рассеяны, их, наверное, собрать трудно, но, мне представляется, это было бы очень полезно и интересно. Среди его рецензий есть много таких, в которых Лев Семенович себя очень ясно выразил, без оглядки на научную достоверность, на научную убедительность. Это человеческие документы в какой-то степени, и очень жаль, если они так и останутся несобранными. Несколько слов об этом есть, как мне помнится, в предисловии В.В. Иванова к "Психологии искусства".

Подписывал ли Лев Семенович свои рецензии и статьи псевдонимами? Думаю, да, и могут быть различные варианты подписи.

Кстати, об отношении Выготского к своей фамилии. В начале революции он немного изменил ее. Фамилия его семьи – Выгодские, но он заменил "д" на "т". Причем он говорил, что сделал это не потому, что "Выгодские" связано со словом "выгода", а потому, что "Выготово" – это та деревня или местечко, из которой происходит его семья. И я думаю, что он действительно так считал. Не знаю, насколько это правильно. У него в подписи могли быть и инициалы, могли быть какие-то псевдонимы, но я думаю, что его легко узнать по стилю. "Человек – это его стиль", и к Выготскому это вполне приложимо.

В университете Лев Семенович очень ярко проявил себя с первого же года. На юридическом факультете преподавались

предметы, как будто бы не очень ему близкие, в частности политическая экономия. Но на первом же курсе его доклады на семинаре по политической экономии выделялись – настолько, что он об этом писал большие письма родителям, хотя вообще не был склонен преувеличивать свои успехи, и ему это было, по сути дела, совершенно не нужно, потому что все само за себя говорило. Письма родителям, кстати, свидетельствуют о том, что отношения с ними продолжались даже на почве научной, или, скорее, учебно-научной.

В Москве Лев Семенович в первые два года учебы жил один. Когда он перешел на третий курс, году в 1915, приехала его сестра Зинаида Семеновна. Она училась на курсах Герье, и они жили вместе. Тут они еще больше сдружились, и, может быть, не случайно. Пожалуй, из великих мыслителей прошлого для Выготского самым близким был Спиноза, а Зинаида Семеновна тоже занималась Спинозой – это была ее дипломная работа в университете. Начинала она учиться на курсах Герье, а кончала уже после революции в университете. Ей даже предлагали написать кандидатскую работу о Спинозе. Еще среди философов Лев Семенович очень глубоко понимал и любил Гераклита. И хотя от Гераклита осталось совсем немного – отдельные слова, отдельные фразы – а вместе с тем, может быть, во всей истории философии ничего подобного по глубине не было.

РЕВОЛЮЦИЯ 1917 ГОДА И ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА В РОССИИ

В 1917 году Выготский кончил университет. Это было через несколько месяцев после Февральской революции. Конечно, Февральская революция произвела на всех огромное впечатление – иначе и быть не могло. В первые месяцы после революции Лев Семенович написал несколько брошюр, в ко-

торых излагались взгляды не его, а различных революционных политических партий. Я не знаю, были ли эти книги подписаны его фамилией или каким-нибудь псевдонимом. Я из них читал только одну – "Чего хотят эсеры?", но он написал таких несколько. У меня осталось такое впечатление, что эта брошюра написана очень объективно, в ней не было критики, а лишь изложение самой платформы. Наверное, эти несколько брошюр тоже представляют интерес, но я не знаю, удастся ли их когда-нибудь найти. А жаль будет, если они пропадут.

Я думаю, что революцию Выготский очень приветствовал. Хотя, по сути дела, политика его не интересовала. Мне кажется, что после университета Лев Семенович несколько месяцев провел в Самаре. Не знаю, с чем это было связано, но там работал кто-то из его гимназических преподавателей, и он пробыл в этом городе несколько месяцев. Я об этом вспоминаю только потому, что, вероятно, в каких-либо самарских газетах того времени, наверняка, тоже были какие-нибудь его статьи, может быть типа театральных рецензий или что-то в таком же роде. А его театральные рецензии – это шедевры. То, что называется "словам – тесно, мыслям – просторно".

Через несколько месяцев он приехал в Гомель. Осенью 1917 года произошла Октябрьская революция. После нее Лев Семенович из Гомеля не уезжал. Время тогда было очень спокойное, особенно на окраинах. Недалеко от Гомеля были белополяки, тоже недалеко, на Украине, – всякие банды и т.д. В такое смутное время, когда можно было всего ожидать, Лев Семенович не хотел оставлять свою семью. Это совершенно естественно. Через несколько месяцев, после того как в Брест-Литовске прошли ничем не закончившиеся переговоры, началось немецкое наступление, немцы заняли Гомель. Это было примерно уже в феврале-марте 1918 года. Немцы организовали на Украине марионеточное гетманство с гетманом Скоропадским во главе, и Гомель, хотя никогда к Украин-

не не относился, они тоже присоединили к Украине. В Гомеле появились и какие-то украинские власти, и немецкие войска. В этой обстановке Льву Семеновичу, конечно, было очень трудно найти свое место, потому как никакого подходящего дела для него и быть тут не могло.

Здесь надо сказать, что в семье Выгодских была склонность к туберкулезу. Туберкулез был у матери и у самого Льва Семеновича, туберкулезом заболел и его младший брат, Додик, которому было тогда 7 - 8 лет. Врачи посоветовали провести климатическое лечение, и мать решила поехать с Додиком в Крым. Лев Семенович не хотел отпускать их одних, и поехал вместе с ними. Они доехали до Киева, а в Киеве поняли, что в сложившейся обстановке в Крым им ехать не следует. Несколько месяцев Лев Семенович провел в Киеве с матерью и братом. Там он познакомился с Ильей Эренбургом²⁴, молодым, начинающим поэтом бунтарского типа. Они очень сошлись. Вторым человеком, с которым Лев Семенович сблизился в Киеве, был Маковельский²⁵. Он был значительно старше Выготского и к тому времени уже сделал большое дело - вышло два тома его "Досократиков". В Киеве Лев Семенович мог бы познакомиться и со Львом Шестовым²⁶. Я думаю, что Шестов еще в юношеские годы оказал большое влияние на Выготского - наверное, это началось с книги "Шекспир и его критик Брандес". Эта книга понадобилась Выготскому, вероятно, для этюда о Гамлете, а уж если Шестова что-нибудь прочитаешь, то, конечно, захочется прочитать и все остальное. И вот такие книги Шестова, как "Добро и зло в учении графа Л.Н. Толстого и Ницше" или "Достоевский и Ницше", или "Творчество из ничего" (это замечательная статья о Чехове), я думаю, оказали в юношеские годы на Льва Семеновича очень большое влияние. Однако с Шестовым он не познакомился, но какой-то контакт через общих знакомых у них появился.

Я думаю, что и в киевских газетах или журналах того времени тоже можно найти что-нибудь, написанное Выготским. Но об этом никогда у нас разговора не было, и я боюсь утверждать это наверняка. Хотя, мне кажется, что это так, я просто не знаю, что там надо искать и где, но попытаться, наверное, стоит.

Итак, Лев Семенович вернулся в полунемецкий-полуукраинский Гомель. Делать ему там было совершенно нечего, его внутренняя энергия не могла найти никакого выхода. Для меня – я только кончил гимназию – это время не было потерянным, потому что я продолжал заниматься самообразованием, а что было делать ему? Все, что он знал, далеко выходило за пределы гомельской обыденности того времени. Приложить свои знания он не мог. Это было очень тяжелое для него время. Именно тогда вокруг него собралась небольшая группа молодых людей его возраста или немножко старше, среди них были Эля Фейгенберг, Боря Цырлин. Но они были людьми не очень для него подходящими, нельзя было их назвать его друзьями. Это были приятели. Рассказывая о доме Выгодских, я говорил, что на крыльце первого этажа стояли чугунные скамейки – на этих чугунных скамейках, бывало, мы сидели всей компанией и вели разговоры на самые разные темы, не всегда даже очень интересные. Мы называли себя "чердачок", потому что иногда собирались и в мезонине дома. И казалось, что этому не будет конца, потому что немцы продолжали побеждать на западном фронте. Казалось, что вот-вот немцы на Западе одержат верх, а тогда и на Востоке, быть может, они пойдут дальше.

Но тут произошел совершенно никем не ожидавшийся поворот в войне. Английские танки, которые держались в большом секрете, – никто не знал об этом новом оружии (самое слово "танк" значит "цистерна" это были большие баки, которые доставлялись на фронт), в один прекрасный день без всякого предупреждения, безо всякой подготовки были бро-

шены в бой, прорвали немецкие линии фронта, и через несколько месяцев боев Германия должна была уже капитулировать. В Германии произошла революция. Революция, конечно, сказалась и на нашем фронте, немцы должны были поспешно оставить и Белоруссию, и Украину, и все захваченные земли. В Гомель вернулась Советская власть. Лев Семенович, Давид Исаакович и я стали школьными работниками (тогда это сокращенно называлось "шкраб"). Лев Семенович и Давид Исаакович работали в общей школе, а я служил в школе Днепровской военной флотилии. Они преподавали литературу. Школьные занятия были в значительной степени интересны. Я могу судить по себе. У меня это был первый опыт преподавательской работы; я только кончил гимназию и еще в университет не поступил, а мои слушатели, мои ученики были матросами. Но такого интереса к истории, я бы сказал, живого интереса, жизненного интереса, какой был у этих молодых ребят, я потом не встречал у своих студентов ни в одном учебном заведении. Думаю, что и Льву Семеновичу, и Давиду Исааковичу тоже было интересно преподавать, но, может быть, для них занятия все-таки были менее интересны.

Конечно, даже преподавание литературы и истории не могло вполне удовлетворить Льва Семеновича. И тогда, при его непосредственном и близком участии, в Гомеле был организован Педагогический техникум. Конечно, Педагогический техникум – это такое учебное заведение, в котором для настоящей философии места нет, но для психологии есть. И Лев Семенович вел там именно психологию. Хотя все-таки всем нам чего-то не хватало, всем нам этой преподавательской работы было мало.

"ВЕКА И ДНИ"

И вот тут у меня появилась мысль организовать в Гомеле издательство. Появилась она не случайно. Молодые люди моего круга довольно рано начинали интересоваться такими вопросами, как смысл жизни, что нужно делать, и т.д. И вот в 1915 или 1916 году, когда я еще был, по сути дела, подростком, в журнале "Русская мысль" появился переведенный с английского языка роман, который назывался "Ричард Ферлонг". Автора я не помню. Герой этого романа – художник, который выбирает лучшие книги, которые ему особенно нравятся, сам их иллюстрирует, сам набирает и печатает и таким образом создает художественную книгу в полном смысле этого слова. На меня это обстоятельство произвело огромное впечатление. Там, в романе, есть и романтическая интрига, и герой погибает из-за своей неудачной любви, но меня заинтересовала именно издательская сторона дела.

Через много лет, когда я уже всерьез сам стал заниматься издательскими делами, я понял, что, в сущности говоря, прообразом для героя того романа был Уильям Моррис, замечательный английский художник начала этого века, который сделал очень много для книги не только в Англии, но и во всем мире, и влияние которого, наверное, и сейчас еще продолжает сказываться. На меня тогда это произвело огромное впечатление, и я решил, что, когда стану взрослым, тоже буду заниматься издательской деятельностью. В те годы в России уже было одно замечательное издательство – издательство Сабашниковых. Было оно не коммерческого, а просветительского типа. И даже больше, чем просветительского. Это меня еще больше укрепило в мысли о профессии, связанной с публикацией книг. И вот тогда, в Гомеле, мне показалось, что я уже достаточно взрослый, а Лев Семенович тоже самый подходящий компаньон и товарищ для такого дела, тем более что он явно не находит места для приложения своих

сил, и я поделился с ним своими намерениями – вот, мол, давай организуем издательство. Лев Семенович загорелся. Единственное, что он сказал: "Надо привлечь Давида".

Тут я вам еще немножко расскажу о Давиде Исааковиче. Я уже раньше говорил о том, что это был очень талантливый лингвист и поэт, причем его любимой поэтической формой было двустишие. У него была целая тетрадь замечательных двустиший. Я одно запомнил:

*Тихая девушка ночью, утром – встающее солнце,
Днем изнурительный труд, вечером – книги и чай.*

Я уже говорил о том, что он был эсперантистом и делегито-эсперантистом. Это был человек без каких-либо бытовых, я бы сказал, предрассудков. Например: в 1918 – 1919 годах не было обуви, и он летом ходил босиком по городу. Его совершенно это не смущало, и это не смущало никого. Кто-нибудь другой пошел бы без обуви – это казалось бы экстравагантным, а может быть и неприличным, а Давид ходит без обуви – это ни у кого не вызывает никаких отрицательных эмоций.

Давид тоже к моей идее отнесся с большим интересом, и вот мы втроем решили организовать издательство. Что мы будем издавать? Во-первых, лучшие творения мировой литературы, это нам дороже всего. Во-вторых, современное – это нам тоже дорого. Как назвать наше издательство? Нашли замечательное, по-моему, для этого название – "Века и Дни". Марку для нашего издательства нарезал на линолеуме гомельский художник Николай Романович Остапец. Она изображала сфинкса, на котором сидит мотылек, – века и дни. Разрешений, мне помнится, никаких не нужно было. Тогда допускались даже частные и кооперативные издательства. Мы решили, что наше издательство будет кооперативным. Денег для этого почти никаких тоже не нужно было, потому

что и бумагу, и типографские работы – нам все давали в кредит с тем, что, когда выйдет книга, ее тут же у нас покупает "Союзпечать", или, как в Гомеле это называлось, "Полеспечать", и мы расплатимся за все работы. Но самое важное было другое.

Когда мы обсуждали план нашей работы, мы, действительно, прошлись по всем векам и дням и обсудили такой широкий круг интересовавших нас вопросов, не ограничиваясь художественной литературой, что для меня это было событием огромного значения, и в моем становлении эти беседы сыграли очень большую роль. Но я думаю, что и для Льва Семеновича, и для Давида Исааковича они тоже были очень важны и интересны. В этом, кстати, меня убеждает и надпись Льва Семеновича на одной книжке.

Через семь лет после образования нашего издательства "Века и Дни" Выготский подружился в Гомеле с художником Быховским и написал о нем небольшую книжку²⁷. В 1926 году эта книж-

ка вышла, он подарил мне экземпляр с такой надписью: "Дорогому Сене – незабываемому спутнику по Векам и Дням от автора на строгий суд. 14 ноября 1926 г.". Значит, через семь лет после "Веков и Дней" он о "Веках и Днях" помнил,

АБЫХОВСКИЙ ГРАФИКА

*Дорогому Сене - моему
малому спутнику по Векам и
Дням - от автора на строгий
суд.*



14. XI. 1926

Издательство
"Образованная Россия"
1926

Книга Л. С. Выготского с автографом

именно понимая наше издательство как путешествие, в котором я был его спутником.

Как нам начать работу? Решили, что прежде всего привлечем к работе нескольких современных авторов – литератора Михаила Осиповича Гершензона²⁸, поэта Валерия Брюсова²⁹, философа Льва Шестова (все они тогда были в Москве). Кроме того, Выготский хотел привлечь к работе Эренбурга и Маковельского. Им он сейчас же написал, и от них очень быстро пришли ответы. Эренбург прислал книжку своих стихов, которая недавно вышла и называлась "Стихи о России". Он хотел, чтобы мы ее издали под другим названием – "Огонь". Таких горячих стихов, как эти, у Эренбурга больше никогда не было. Вспомню некоторые отрывки. Там есть стихотворение "Хвала смерти" – о Каине после убийства Авеля:

*И больше не хотело ни биться, ни роптать
Его темное, косматое сердце.*

Стихотворение с эренбургской иронией:

*Каменщики пели: мы молоды,
В небо уйдем, что нам стоит?
В наших сердцах столько золота,
На горе новый город построим.*

А потом, когда город построили и в нем поселились люди и пришли другие люди, которым негде было жить, то оказалось:

*Наш город так мал, у нас всего 500 зал:
Сто зал, чтобы вздыхать поутру,
Сто зал для чтения персидских лириков,
Сто зал, чтобы пить шато д'икем.*

и т.д.

А для важных дел места нет. Книжка была, действительно, замечательная. После этой книжки Давид Исаакович предложил издать стихи французского поэта греческого происхождения – Мореаса. Этот поэт – полная противоположность Эренбургу, неумная радость жизни.

Издательское дело нас интересовало и само по себе. Ко-

Книги И. Эренбурга.

Стихи Париж 1910.
 Я живу в Петербурге 1911.
 Олушечники Париж 1912.
 Будни Париж 1913.
 Фрагменты Жюльетты, Стихи и проза. Переводы И. Эренбурга и Е. Шенделя. Москва 1913.
 Делантер, Палеолог 1914.
 Поэты Франции (1870-1913). Переводы. Париж 1914.
 Стихи о Канунах, Москва 1916.
 Фрагменты Района, Переводы. Москва 1916.
 Жак, Бетис. О грехе, рыцарях и рубашке. Перев. Москва 1916.
 Повесть о жизни ильхой Наденьки. Париж 1917.
 О жителях Семена Дрозда. Париж 1917.
 Молитва в России. Москва 1918.
 Вь «мертвый» час. Киев 1919.

Печатаются:

Зачем Елка Дятские стихи.
 Вь члхлхлхлх Романы.
 Жизнь женщины.
 Повесть о жизни ильхой Наденьки (2 ое издание)

Готовы к печати:

Золотое сердце. Мистерия.
 Поэты старой Испании. (Гонсаго Берсео. Протолея изъ Ино. Хораз. Маринел, св. Хуанъ и др.)

Книгоиздательство „Вѣна и Дни“.

Гим. ст. Садовая д. № 21.

Печатаются:

Фр. Нише. Тамъ герольдъ Эзраустра. Незаданные главы.
 Ларри-де-Рилье. Стихи и поэма.
 Д. Выгодский Небу и земю. Стихи

Готовятся к печати:

С Чернышевский. Царица.
 Поэты старой Испании.
 С Малларча. Стихи.
 Римские легенды. Катулл. Тибулл. Проперций.
 Уэльс. Уитманъ. Незаданные стихи.
 Р. М. Рилье. Связанье о любви и смерти корнета Рилье.
 А. Франсъ. История человека, который женился на ильхой женщины.
 Д. Выгодский. Повесть ослу. О Крыловъ.
 Вь издательствѣ выражены согласіе сотрудничать: В. Аренсъ, В. Брансъ, И. Пенриэль, Д. Выгодский, М. О. Гершензонъ, Р. Макналейсий, В. Ходасевичъ, Г. Шенгели, И. Эренбург и другіе.

И. ЭРЕНБУРГЪ

ОГОНЬ

Издательство
 „ВѢНА И ДНИ“
 1916.

Обложка книги, выпущенной издательством “Века и Дни”,
 с проспектом изданий

гда книги набирались, мы целые дни проводили в типографиях. Директор одной типографии Григорий Михайлович Нейман, человек очень живой, быстрый, нас всех очень хорошо знал – в Гомеле неудивительно было знать друг друга. Он,

немножко божественный человек, был редактором нескольких гомельских газет. Мы ему мешали работать, но он с большим удовольствием отрывался от работы, для того чтобы нам обо всем рассказывать, и пересыпал свои рассказы шуточками, вроде: "Что вы маленькими не удавились? Вы бы мне не мешали работать!" А когда я позднее стал заниматься издательскими делами в большом масштабе, я вспомнил все то, что он нам рассказывал, и очень благодарен ему до сих пор. Это мой первый учитель в типографском деле.

Нам казалось, что мы сумеем очень многое сделать. Дело заключалось в том, что недалеко от Гомеля, в местечке Добруш, находилась писчебумажная фабрика княгини Паскевич. Поэтому в Гомеле была бумага. Как вы увидите, наши планы оказались нарушенными.

Когда две книги у нас уже вышли, мы решили, что все-таки надо связаться и с московскими желательными для нас авторами. Лев Шестов выразил согласие участвовать в нашем издательстве, но ничего конкретного для публикации не предложил. Маковельский прислал ответ совершенно поразительный. Он был написан в виде старинной грамоты: "Льву Семеновичу Выготскому от Маковельского" – все это было выписано каллиграфическим шрифтом, как в каких-то старинных грамотах, и текст в таком же духе – немножко приподнятом, патетическом. Он нам предложил следующий выпуск "Досократиков".

Время от времени у меня были командировки в Москву за учебниками для школы Днепровской военной флотилии. Пришла очередная моя командировка, и было решено, что во время нее я постараюсь связаться с Гершензоном и Брюсовым. Кроме того, у нас был еще план издать избранные произведения Пушкина. Но для этого, по тогдашним правилам, нужно было разрешение Госиздата (он был организован только в 1919 году). Свои командировочные дела с учебниками я довольно быстро сделал, и мне предстояло повидаться с

Гершензоном и Брюсовым. Может быть, это не имеет прямого отношения к Выготскому, но, с другой стороны, это показывает, как к нашей идее издательства "Века и Дни" относились люди, которых мы хотели привлечь. Поэтому я об этом рассказу немного подробнее.

Михаил Осипович Гершензон жил в Никольском переулке на Арбате, теперь это Плотников переулок. Он жил в двухэтажном деревянном флигеле во дворе. Я пришел в этот довольно ветхого вида домик, поднялся на второй этаж. Спрашиваю Михаила Осиповича. "Он скоро должен прийти, подождите его". Меня проводят в мезонин, где был кабинет Михаила Осиповича. Там я его и ждал. Примерно через полчаса я услышал быстрые шаги по деревянной внутренней лестнице. Дверь открывается, быстро входит человек небольшого роста, немножко всклокоченные седые волосы,

уже чуть лысоватый, в очках. Я рассказал ему, по какому я делу. Когда я дошел до того места, что в нашем издательстве согласился сотрудничать Лев Шестов, он вскакивает со своего стула, становится на другой стул, снимает со стены фотографию. "Мой лучший друг!" – и показывает мне фотографию Шестова. Одним словом, Гершензон тоже будет с нами сотрудничать. Пока он еще не может сказать, что именно нам предложит, но что-то он нам предложит. Надо вам сказать,



*Снимок фотографу Добкину
от дочери Л. В. Гершензона в Балтийском
флигеле и архивариусом из музея
к нему.
Н. Шестов*

М.О. Гершензон
Фотография подарена
С.Ф. Добкину дочерью
М.О. Гершензона

что в 1915 году вышла одна из самых замечательных книг Гершензона, которая называлась "Мудрость Пушкина". Смысл этой книги примерно такой, что все, что люди хотят сделать, не получается, а когда они доверяются судьбе, все получается. Лучший пример – это "Метель" Пушкина. Когда люди хотят пожениться, это им не удается; когда люди потом не могут пожениться, потому что они давно поженились с другими, чужими людьми, то оказывается, что это они сами и есть. Гершензон тоже относился к числу тех мыслителей, которые на Выготского, конечно, оказали большое влияние.

После этого мне надо было повидаться с Валерием Брюсовым. Брюсов тогда заведовал Книжной палатой. Книжная палата размещалась на Новинском бульваре, в доме 6, почти у Никитских ворот, – в одном из самых прекрасных московских ампирных особняков, построенном, кажется, Бове. К сожалению, этот дом был разрушен немецкой бомбой в начале Великой Отечественной войны. Он не сохранился. Но это был дом замечательной красоты.

Я прихожу туда к концу дня. Это примерно позднее лето или ранняя осень. Дом освещен солнцем, дверь открыта, я захожу – никого нет. Все помещения, комнаты, лестницы, коридоры уставлены штабелями книг. Это все старинные книги, по-видимому, свезенные из дворянских усадеб. И никого не вижу. Мне очень интересно посмотреть хоть немножко книги, но я могу смотреть их только немного, потому что мне все-таки надо найти Брюсова. Я иду все дальше и дальше, и наконец слышу какой-то шорох, кто-то в соседней комнате есть. Я открываю дверь – у высокого стола типа, так называемой, конторки стоит Брюсов, совершенно с врубелевского портрета, в точности. Причем портрет я видел, а Брюсова вижу в первый раз. Поэтому у меня впечатление, что Брюсов именно сошел с портрета. Он одет в какой-то щегольский костюм, и хотя этот щегольский костюм сильно потерт уже, но изящество брюсовское остается. Я ему тоже начинаю рас-

сказывать о наших издательских планах. Он меня тоже слушает с большим вниманием, и когда я под конец говорю ему, что вот единственное только нас смущает, что у нас тиражи сравнительно небольшие – по 10 - 15 тысяч, больше наши ресурсы бумажные не позволяют, поэтому мы очень ограничены в смысле гонорара, – тогда опять врубелевская улыбка в усы: "Я буду сотрудничать с вами не для гонорара, а для удовольствия!"

Наконец, мне надо зайти в Госиздат, для того чтобы получить разрешение на издание Пушкина. Госиздат помещался на Малой Никитской, теперь это улица Качалова, дом 12 – бывшая гимназия Адольфа. Тоже прекрасный старинный особняк, но уже дворцового типа. Я прихожу туда, причем не знаю, с кем же мне разговаривать. Я себе представляю, что я должен поговорить с заведующим Госиздата, кто же другой может мне дать разрешение? Заведующий Госиздата – это Воровский³⁰.

Я вхожу в большую комнату, которая перегороджена надвое: в одной части сидит секретарша, и пишущая машинка там, в другой части, отгороженной фанерой, – собственно кабинет. Значит – приемная и кабинет. Дверь в кабинет открыта, никто не спрашивает меня, по какому поводу я пришел, никому не надо докладывать, спрашивать, можно ли пройти, и т.д. И я вхожу в кабинет Воровского. Там несколько человек говорят об издательских делах. Я слушаю с большим интересом, потому что тоже имею отношение к издательским делам и мне интересно знать, какие бывают неполадки в издательстве.

Через несколько минут они обращают внимание на то, что появился еще один слушатель, и Воровский спрашивает меня, по какому я делу. Я ему опять так же бесхитростно рассказываю о наших делах и говорю, что вот мы задумали теперь издать избранный томик Пушкина, но на это нам нужно разрешение Госиздата, потому что у Госиздата монополия. "Из-

давайте все, что хотите, мы вам все разрешаем издавать!" И он готов мне написать такую бумагу, о том, что нам все это разрешается. "Да вам ничего и не нужно, я вам все это разрешаю!" - "Спасибо!" - "Э, подождите, подождите!" Тут он вызывает свою секретаршу, чтобы она позвала заведующих таких-то и таких-то отделов. Человек пять-шесть через несколько минут приходят к нему. Он говорит: "Послушайте, как нужна сейчас книга, послушайте, что делают в провинции самые различные люди. Расскажите им о вашей работе". Я им опять рассказываю о том, что делает издательство "Века и Дни", они меня опять с интересом слушают - это же барометр того, чем живет страна. И меня отпускают с миром. Когда я приехал и рассказал Льву Семеновичу и Давиду Исааковичу о результатах своих переговоров, они очень этим были довольны, и наши планы теперь как будто могли осуществляться в широком масштабе.

И тут происходит то, чего следовало, конечно, ожидать и чего мы в глубине души опасались. Понимаете, в Советской России запасы всего были уже исчерпаны. А Гомель только недавно оказался после немцев во владении Советской власти, и значит, в Гомеле были какие-то ресурсы, которые еще не были затронуты. Поэтому в Гомель очень скоро прислали комиссию, которая должна была все гомельские ресурсы мобилизовать и свезти их в центр. В том числе так случилось и с бумагой. Раз бумаги не стало, наше издательство не могло больше существовать. К тому времени гражданская война подходила к концу, стало спокойнее. Давид Исаакович решил уехать в Петроград продолжать там свою научную и литературную работу.

Наша семья оказалась в начале революции разобщенной. Из-за того, что немцы заняли Гомель, мои сестры и отец оказались отрезанными друг от друга. Но тут опять вся семья воссоединилась, стало спокойнее. Я тоже получил возможность уехать в Москву, в университет. Издательство, та-

ким образом, прекратило свое существование, но, повторяю, не только для меня, но, мне кажется, и для Льва Семеновича это было каким-то этапом в жизни, может быть, даже и этапом в его становлении.

Как выглядел Лев Семенович, каков был его облик? Я бы сказал, что он был обаятелен, причем обаяние это чувствовалось прямо с первых же слов. У него был замечательный голос, которым он чудесно владел. Когда он начинал говорить, а он начинал говорить сразу после того, как вы с ним встречались, он становился и внешне обаятельным. Он был смолodu склонен к туберкулезу, и, может быть, как бывает у туберкулезных больных, у него часто появлялся румянец. Этот румянец я могу назвать только девичьим, в полном смысле этого слова – девичий румянец, который ему чрезвычайно шел. Волосы зачесаны на пробор – всегда так было. Обычная домашняя одежда его – косоворотка, обычно черная сатиновая, которая ему тоже очень шла. Чуть-чуть искривленные губы, причем это не усмешка, они чуть-чуть искривлены, даже когда он не усмехается и не иронизирует, и это придает его облику чуть иронический оттенок и вместе с тем совершенно обаятельный. В какое бы общество он ни попадал – везде он производил одно и то же впечатление.

Лучшая, на мой взгляд, фотография Выготского – снятая в Лондоне. Его единственный выезд за границу – это поездка в Лондон на научную конференцию в середине 20-х годов. Лондон произвел на него большое впечатление – и сам город, и вся эта поездка.

Читал он по-английски совершенно свободно. Насколько свободно говорил, мне трудно сказать, потому что мне с ним не приходилось говорить по-английски. Но я себе не представляю, чтобы Лев Семенович чего-нибудь, что ему хотелось сделать, не умел бы осуществить. Он выучил английский язык самостоятельно. В те годы, когда он жил в Гомеле, английскому в городе было учиться не у кого, а ему это

нужно было для "Гамлета". Не случайно он в работе о Гамлете пишет о том, что "Гамлета" надо цитировать по-английски, а не по-русски.

ВЫГОТСКИЙ И ДЕТИ

Мне хочется рассказать о детских стихах. Выготский их очень любил. Он читал детские стихи своим младшим сестренкам и брату. Наверное, позднее – маленькой дочери. Детские стихи он повторял в разговорах со взрослыми. Я хочу привести такое стихотворение, пусть оно останется записанным:

*Я теленочка ласкала, был он маленький.
Я теленочка ласкала у завалинки.
Я теленочка ласкала, был он нежненький.
Я теленочка кормила травкой свеженькой.
Как над маленьким я пела над ребеночком,
Навсегда ему велела быть теленочком,
Пусть большие все коровы — ты будь маленький,
Дам тебе я травки свежей у завалинки.*

Лев Семенович с детских или с отроческих лет понимал детей. У них, как я уже говорил, было в семье восемь детей. И вот я помню, как он не только что-то рассказывает самым младшим или читает им какие-нибудь детские стихи, но помню, как он моет им ножки – словом, заботится о них по-настоящему. Может быть, эта склонность к детям в какой-то степени определила его интерес к детской психологии. Я думаю, что ему хотелось сделать так, чтобы его знания имели практическое приложение. Практическое приложение в то время, пожалуй, легче всего могла найти работа в области детской психологии, и даже конкретнее – именно в детской дефектологии. Он любил выражение "аномальный ребенок".

Например, у него есть замечательная, на мой взгляд, статья "Слепой ребенок". Мне кажется, что там выражена эта мысль – о том, что слепой ребенок это не дефективный ребенок, а аномальный, у которого вся психика строится по другим каналам, но он вполне полноценен, несмотря на отсутствие зрения.

Мне пришлось слышать рассказ одного моего друга. Он обращался к Льву Семеновичу по поводу своего ребенка. У ребенка была плохая наследственность, и опасались, что у него эпилепсия, потому что у него были какие-то явления, которые рядовые врачи рассматривали как проявление эпилепсии. Родители обратились к Выготскому. Тот внимательно поговорил с ребенком, ознакомился со всем и сказал, что нет никаких оснований считать, что это эпилепсия. Объяснил, что происходит с ребенком, и, действительно, оказалось, что ребенок не эпилептик, из него вырос замечательный математик и еще более замечательный дирижер. Родители рассказывали мне, как с ними говорил Лев Семенович, как он им все объяснял, – это было проникнуто таким глубоким чувством, таким живым, настоящим, неподдельным дружелюбием, желанием помочь и ребенку, и родителям, что становилось ясно, насколько ему эта работа действительно по душе.

Я думаю, что дефектологическая работа с каждым годом занимала все большее и большее место в жизни Льва Семеновича. Думаю, что это была та область, в которой он мог работать и с наибольшей отдачей, и с наибольшей свободой, и с наибольшим пониманием окружающих.

Здесь, в связи с тем, что мы заговорили о его работе в области детской дефектологии, я хотел бы упомянуть имя Гешелиной. Думаю, что это была одна из самых способных, одна из самых понимающих Выготского сотрудников.

ПСИХОЛОГИЯ

Я уже говорил о том, что жизненно важными для Выготского вопросами были вопросы мировоззренческие, и в этом смысле его работа о Гамлете является просто автобиографической. Она показывает, что именно Лев Семенович видел в жизни, что хотел осмыслить через Гамлета. Его мировоззрение, конечно, было трагическим, но в то же время заставляющим не останавливаться на каком-нибудь трагическом выводе, а продолжать искать. Следовательно, для него было бы естественно, чтобы и дальнейшее направление духовного поиска шло в философском русле. Но, думаю, что к психологии Выготского тянуло как к чему-то более конкретному.

Я не хочу проводить аналогию между мною и Львом Семеновичем, но такую аналогию мне придется провести. Несмотря на огромную разницу между нами, несмотря на то, что Выготский был, с моей точки зрения, великим мыслителем – не просто мыслителем, а великим мыслителем, сфера наших интересов была в определенной мере общая. Я учился в Москве на философском отделении историко-филологического факультета. Это отделение имело один прием и один выпуск, и то выпустили нас ускоренным порядком – вместо четырех лет отделение существовало примерно три с половиной года. Не было двух подразделений, но была неофициальная специализация – кто в сторону философии, кто – психологии. Несмотря на то, что основными нашими философскими учителями были такие люди, как Шпет, Ильин, недолгое время Семен Львович Франк³¹, я все же был ближе к психологическому уклону. Среди преподавателей психологии не было кого-нибудь сколь-либо стоящего. Был Челпанов. При всем моем большом уважении к нему как к человеку, который много сделал для организации Психологического института и первым в России ввел экспериментальную психологию, я считаю его неталантливым, не то чтобы отсталым – он

очень любил психологию, все силы готов был ей отдать, но у него не было нужных для этого сил.

Челпанов был руководителем психологического факультета. Сам-то Челпанов, его Институт экспериментальной психологии после революции фактически не работал. За все время, что я учился в университете, я ни разу не был в натопленной аудитории. Так что в институте не было никаких условий для экспериментальной работы. Задача была хотя бы в том, чтобы приборы сохранились. Часть из них перенесли в другие комнаты, во-первых, чтобы они не разбились, во-вторых, потому что надо было освободить какие-то аудитории для нашего отделения. Челпанов вел у нас курс психологии, но совершенно неинтересно. Не то что бы по старинке... Мне представляется, что можно и по старинке вести интересно, потому что, например, Гефтдинг или Эббингауз могли интересно читать, а вот Челпанова было скучно слушать. Он очень любил психологию, много сделал в свое время для нее: собрал средства, чтобы выстроить небольшое здание для института, чтобы получить оборудование, - все это было в до-революционной России непростым делом. Он выпустил книгу "Введение в экспериментальную психологию", которая методически была нужна и свою методическую роль выполнила. Но он был совершенно, я бы сказал, нетворческий человек и очень скоро потерял не только свое руководящее место - вообще место в психологии. Челпанова попросту уволили, и довольно, как нам тогда казалось, некрасиво уволили, это сделали по тем нормам, которые были приняты. На его место пришел Корнилов. Но и Корнилов, как мне кажется, был человеком неталантливым. Что о нем думал Лев Семенович, я не знаю.

Семинар по этнической психологии вел Шпет - но это была и не этническая и не психология. Шпет был гуссерлианцем, но он не мог быть только гуссерлианцем, он был Шпетом. Семинар был очень интересным, но это не было настоящей психологией.

Он понимал, что в современной философии основные проблемы это проблемы теории познания. Шпет был гуссерлианцем не подражательным, а оригинальным. Иначе быть не могло, это был яркий философ. Но Шпет был глубоким противником того, что можно назвать "психологизмом", и считал, что надо очистить теорию познания от всех следов психологизма. Лев Семенович с этим был совершенно согласен: психологизм



Г.Г. Шпет

и научная психология не имеют ничего общего.

Меня всегда интересовал вопрос о том, был ли Выготский знаком с Бахтиным³², но я не могу этого установить. Почему меня это заинтересовало? Лев Семенович в книге "Мышление и речь" говорит о том, что слово может иметь много значений, и в качестве иллюстрации к этому приводит отрывок из Достоевского (кажется, из "Дневника писателя"). Достоевский описывает

такую ситуацию: он идет, и навстречу ему идет несколько рабочих. Каждый рабочий говорит только одно слово, и из контекста совершенно ясно, что говорят они слово нецензурное, и вместе с тем, как каждый раз, когда это слово говорит другой рабочий, оно приобретает иной смысл, и таким образом получается целый разговор. Когда я читал это место в книге Выготского, я не знал, что у Бахтина тоже написано об этом. Взял ли Лев Семенович это из работы Бахтина, которая была подписана псевдонимом Волошинов, или нашел это самостоятельно у Достоевского, я не знаю, но очень хотел бы знать. Тут могут быть любые варианты. И совпадения такие мне приходилось в жизни видеть у людей, наверняка друг друга не знавших. Приходилось слышать, как люди,

которые не могли друг друга знать, высказывали одни и те же мысли в совершенно одинаковых словах.

Мне кажется, Выготский умел находить подтверждение своей мысли в любом материале. Причем очень часто бывало так, что он приводит факты, на которые ссылается какой-то исследователь, и те объяснения, которые исследователь дал этим фактам, и тут же говорит, что объяснение этим фактам должно быть совершенно противоположное.

ВХОЖДЕНИЕ В БОЛЬШУЮ ПСИХОЛОГИЮ. МОСКВА

Выготский вошел в большую психологию в 1924 году, когда был Второй Всероссийский психоневрологический съезд в Петрограде. Лев Семенович приехал туда, кажется, с тремя замечательными докладами, которые буквально ошеломили всех. Вспомните, как А.Р. Лурия рассказывает об этих докладах. Ведь откуда приехал Выготский? Из Гомельского педагогического техникума. Работы, представленные на съезде, были сделаны в Гомеле на материале в какой-то степени учебной работы. Может быть, учебная работа давала ему возможности глубже вести эти исследования, ведь понимание того, что психология переживает кризис, что старая психология зашла в тупик, пришло к нему именно в гомельские годы на базе работы в Педагогическом техникуме. Тогда вышла книга И.П. Павлова – я думаю, что она была лишь одной из книг, которая могла на него так подействовать. Мне кажется, что Лев Семенович не сводил понимание психологии к рефлексологии. На мой взгляд, павловское понимание рефлексов неадекватно пониманию Выготским психической деятельности. Ну а как исходный материал, конечно, эта книга была значительна, важна и сыграла какую-то роль, но наряду с многими другими книгами и, я думаю, с еще большим количеством

размышлений. Таким образом, Выготский естественно, по преемственности работы, пришел в психологию, а вместе с тем мне представляется, что в психологии, во всяком случае на протяжении первого десятилетия его работы, большую роль играли и чисто философские проблемы. Я думаю, что книга Выготского "Психология искусства" с полным правом могла бы быть названа "Философия искусства". В сущности говоря, там под "фиговым листком" психологии обсуждаются философские вопросы.

Почему он не опубликовал эту работу? Я думаю, это было невозможно в то время. В примечаниях В.В. Иванова к осуществленному им первому изданию книги в 1965 году, говорится, что при публикации текст "Психологии искусства" не менялся, но в нем были сделаны небольшие сокращения, выброшены различные цитаты и т.д. Думаю, что это могли быть какие-либо цитаты, которые Лев Семенович считал важными, но из-за существовавших в стране обстоятельств их нельзя было публиковать. Не знаю... Но, кроме того, я думаю, он многого не публиковал. Может быть, среди неизданных при жизни Выготского работ нет второй такой законченной вещи, как "Психология искусства". Во всяком случае, она была для него очень дорогой книгой. У Выготского было мало людей, которых он считал своими друзьями в полном смысле этого слова, с которыми очень близко общался. Но одним из таких людей был кинорежиссер Сергей Эйзенштейн. И то, что именно у Эйзенштейна в архиве нашлась рукопись "Психологии искусства", я думаю, очень характерно. Это свидетельствует о том, насколько Лев Семенович ценил эту книгу.

После докладов на съезде в Петрограде Выготский сразу получил приглашение в Москву на какую-то небольшую должность в Институт экспериментальной психологии. У него было очень скромное звание - научный сотрудник второго разряда. Но, несмотря на скромную должность, он сразу за-

нял очень видное место, очень скоро вокруг него сгруппировались молодые психологи, и работа пошла в очень быстром темпе. Я думаю, что у Льва Семеновича был большой "задел". За гомельские годы, за годы работы в Педагогическом техникуме, он глубоко продумал многие вопросы психологии.

Выготский поселился в здании, где теперь находится Институт психологии Академии педагогических наук. Тогда в там помещался челпановский Институт экспериментальной психологии, там же проходили занятия философского отделения университета, на котором я занимался. Лев Семенович получил в подвале небольшую комнатку. Скоро к нему приехала жена - Роза Ноевна. Тут произошел любопытный случай. Отделение факультета, на котором я занимался, уже было ликвидировано, но архив этого отделения сложили как раз в той комнате, которую отвели Льву Семеновичу. Он заинтересовался и немножко стал разбирать этот архив. Однажды я к нему прихожу, и он говорит: "Знаешь, Сеня, я нашел твой доклад. Он мне понравился". Это был доклад на семинаре Г.Г. Шпета по этнической психологии, тема доклада: "Что делает людей нацией". "А доклад этот, - говорю я, - это то, чем мы занимались в кружке. Помнишь, это твоя мысль, что людей делает нацией общность исторических судеб?"

Прошло несколько месяцев. Роза Ноевна, жена Льва Семеновича, ждала ребенка. Рожать в этой самой подвальной комнатке, конечно, было нельзя. Тут пришел на помощь друг Выготского - Владимир Самойлович Узин. Я о нем еще ничего не сказал. Эта дружба идет еще с гомельских лет. Вообще говоря, в старом дореволюционном быту все было как бы разложено по полочкам. Известно было, кто чем занимается и у кого какое дело, каждый делал свое дело по привычке, по традиции, по старинке и т.д. Людей богемного типа было немного.

Узин был человеком именно богемного типа, в смысле полного невнимания к быту. У Петрарки есть такие слова:

"Быт - это то, чего нельзя избежать, но что нужно презирать". Так вот, В.С. Узин, несмотря на то, что у него была семья, жена и двое детей, жил без какого-либо твердо налаженного быта, без твердого расписания и т.д. Это был человек физически очень странный. Очень маленького роста, еще немножко, и мы сказали бы "карлик" - с большой головой, и не только большой, но и очень умной. Он был старше всех нас. Никакого дипломированного образования Узин не получил. Но, благодаря редкому уму и способностям, самоучкой он стал одним из самых образованных людей, которые мне встречались.

После революции Узин написал интересные литературоведческие и театроведческие труды, сделал ряд переводов с испанского языка. С его вступительной статьей были изданы пьесы Лопе де Вега. Он блестяще знал языки, в частности латынь и испанский. В Гомеле он давал частные уроки, но в то время, как Соломон Маркович Ашпиз, о котором я вам рассказывал, был учителем особого типа, Владимир Самойлович имел совершенно рядовые уроки. Этим он жил, и жил, я думаю, довольно бедно. Во время экзаменов в гимназии Узин писал сочинения за некоторых гимназистов. Каким-то скрытым путем ему передавали темы сочинений и так же скрытно Узин передавал в гимназию написанные им страницы.

Он был инициатором игры среди гомельской молодежи - "литературного суда". "Судили" кого-либо из литературных героев. Заранее распределяли роли среди участников "суда" - защитники (адвокаты), обвинители (прокуроры), члены суда, присяжные. Я помню, как в 1915 или 1916 году на "суд" вместе с Узиным пришел Лев Семенович, бывший в Гомеле на каникулах. "Судили" героя рассказа Гаршина "Надежда Николаевна", совершившего убийство из ревности. Узин был выбран председателем суда. Лев Семенович соглашался на роль либо прокурора, либо защитника - отстаивать любую точку зрения. Поначалу это озадачило участников игры - как

же можно защищать противоположные точки зрения? Дело в том, что Лев Семенович умел увидеть аргументы в пользу и той и другой стороны. Сказалось воспитание будущего юриста на юридическом факультете. Но и по складу своего мышления Лев Семенович всегда был чужд односторонности, предвзятости, излишней уверенности в правильности какой-то единственной концепции. Замечательная способность понимать и чужую точку зрения характерна для всей его научной работы.

Возможно, учеба на юридическом факультете способствовала и развитию ораторских способностей Льва Семеновича, но умение ясно и убедительно излагать свои мысли было у него прямо-таки врожденным. О чем бы он ни рассказывал, все было интересным и увлекательным. Как-то ему сказали: "Как талантливо вы рассказываете". Он ответил: "Не я талантлив, тема моя талантлива".

Влияние Узина на Выготского было несомненным. Они познакомились следующим образом. Льву Семеновичу захотелось лучше узнать латынь. Я думаю, он мог бы и сам заниматься, без чьей-либо помощи, потому что английский язык, который был ему нужен для "Гамлета", он изучил сам. Но сложилось так, что он стал заниматься латынью с Узиным, и эти занятия очень скоро переросли в настоящую дружбу. Надо вам сказать, что в старое время у прогрессивной части общества было отрицательное отношение к латыни. Дело заключалось в том, что до революции, особенно в конце XIX века, для того чтобы сделать среднюю школу менее доступной для людей из народа, в ней в качестве обязательных предметов, причем с широкой программой, были введены латынь и греческий. В то время, когда Выготский учился в гимназии, греческий был уже не обязателен, а латынь – обязательна. Замечательный знаток античности, Зелинский много делал для того, чтобы поднять интерес к латыни и грече-

скому, но отношение к этим языкам сохранялось весьма и весьма отрицательным.

Об Узине стоит сказать еще несколько слов. Несмотря на то, что у него не было никакого диплома, даже о среднем образовании, уж не говоря о высшем, он написал ряд работ по испанской литературе, с его предисловиями выходили сочинения испанских классиков. Он написал небольшую книжку о пушкинских "Повестях Белкина"³³. Когда появились ученые степени, ему присвоили степень кандидата наук без защиты диссертации. Он был человеком на редкость талантливым. Узин переехал в Москву тоже в начале 20-х годов, и в Москве у него были довольно хорошие жилищные условия. Роза Ноевна именно в квартире Узина рожала, выздоравливала после родов. Дружба Льва Семеновича с Узиным продолжалась всю жизнь, до конца жизни Выготского.

Возвращусь к научной работе Выготского в Москве. Сначала - общее признание и как будто бы очень хорошие условия для работы. Но я думаю, что в конце 20-х годов, может быть уже во второй половине 20-х годов, условия стали гораздо более трудными из-за недоверия к специалистам, к ученым - недоверия, с одной стороны, почти ничем не оправданного. Я говорю "почти ничем", потому что, наверное, могли быть отдельные случаи, когда такое недоверие могло быть чем-то оправдано. Но думаю, что таких случаев было очень мало. При этом буквально каждый, любой неуч мог что-нибудь ляпнуть, и это отзывалось таким резонансом, который делал работу невозможной. Сплошь да рядом у Льва Семеновича бывали огромные, скажем мягко, неприятности на этой почве. Я бы не побоялся сказать, что иногда все это носило характер травли. И Лев Семенович переживал это очень болезненно.

Выготский часто болел. У него был туберкулез. Первый раз с его туберкулезом я столкнулся следующим образом. Через несколько месяцев после того, как я уехал в Москву, я

получил от него письмо из Гомеля, что он тяжело болен, думает, что не выживет, и поэтому просит меня сделать следующее: зайти к Юлию Айхенвальду³⁴ (это был его преподаватель по университету Шаняевского, один из самых крупных литературных критиков дореволюционного времени), рассказать о том, что с ним происходит, и попросить, чтобы после его смерти Айхенвальд принял какие-то меры для того, чтобы издать его работы. Конечно, я сразу отправился к Айхенвальду. Он очень хорошо помнил Льва Семеновича, очень сочувственно ко всему отнесся – он вообще был прекрасный человек – и, конечно, обещал, что все сделает. Я написал Льву Семеновичу, чтобы он не думал о смерти, что все обойдется, что его поручение я исполнил. Написал о том, как Айхенвальд отнесся к его просьбе. Через два-три месяца Лев Семенович поправился.

Время от времени в Москве у него бывали обострения туберкулеза, и каждый раз туберкулез обострялся, когда бывали какие-либо осложнения или неприятности в работе. Выготский очень чувствительно относился к ситуации на работе. В Москве мы видались не так часто, как в Гомеле. В Гомеле примерно год или два мы жили в одном и том же доме – это те годы, когда существовало издательство "Века и Дни". Видались мы тогда, по сути дела, ежедневно и проводили значительную часть дня вместе. В Москве, конечно, это не могло быть так – жили мы в разных концах города, работа была у нас различная и у обоих достаточно напряженная. Вспоминаю такой случай (это было уже в 30-е годы). Как-то я пришел к нему – он болен, лежит и говорит примерно следующее: "Работать мне стало здесь совершенно невозможно. Мне предлагают интересную работу в Сухуме, в обезьяньем питомнике. Но я не решаюсь поехать туда один. Ты бы со мной поехал?" Я уже примерно лет семь, как не занимался психологией, у меня уже была и семья, и родители мои жили в Москве, и мне нелегко было бы их оставить, и тем не ме-

нее я прекрасно понимал, как важна для Льва Семеновича возможность уехать в Сухум. Я не колеблясь ответил ему: "Поеду!" Однако этот план не осуществился, может быть, из-за состояния здоровья Льва Семеновича, может быть, по каким-то другим причинам, но наша поездка не состоялась.

Выготский стал все чаще хворать, ему наложили пневмоторакс, который в те годы считался замечательным средством, но и пневмоторакс не помог. Последний месяц своей жизни он провел в санатории в Серебряном бору под Москвой. И там умер.

В последние годы своей жизни Лев Семенович особенно часто повторял стихотворение В. Ходасевича "К Психее":

*Душа! Любовь моя! Ты дышишь
Такою чистой высотой,
Ты крылья тонкие колышишь
В такой лазури, что порой*

*Вдруг, не стерпев счастливой муки,
Лелея наш святой союз,
Я сам себе целую руки,
Сам на себя не нагляжусь.*

*И как мне не любить себя,
Сосуд непрочный, некрасивый,
Но драгоценный и счастливый
Тем, что вмещает он - тебя?*

Лев Семенович очень любил задачи с двойным решением. Иногда они носили характер остроумных шуток, иногда это были какие-нибудь слова, которые имели два смысла. Сестра, которая ходила за ним перед смертью, рассказывала, что его последними словами перед смертью были: "Я готов!" Их тоже можно рассматривать как имеющие два смысла.

Добавлю еще несколько слов. Наверное, рассказывая о Льве Семеновиче, я многое пропустил. Но так как я вам рассказываю о делах, которые имеют давность в 70 - 60, по меньшей мере в 50 лет, то у меня в рассказе могут быть какие-то неточности. Вы меня поймете и извините.

КОММЕНТАРИИ

- ¹ Тан-Богораз, Владимир Германович (1865 - 1936) - этнограф, литератор, член партии "Народная воля". Псевдоним "Тан" взят им от его имени до крещения - Натан.
- ² Выгодский, Давид Исаакович (1894 - 1943[?]). Переводчик, литературный критик, поэт. Двоюродный брат Л.С. Выготского. В 1922 г. вышла книга его стихов "Земля". Переводил с европейских языков и с древнееврейского. Его арест в 1938 г. вызвал беспрецедентный в годы сталинского террора протест ряда писателей (Ю.Н. Тынянов, В.Б. Шкловский, М. Зощенко, К. Федин и др.) Погиб в заключении.
- ³ Выгодская, Зинаида Семеновна - сестра Льва Семеновича Выготского (Выготского). Лингвист, соавтор нескольких русско-английских и англо-русских словарей.
- ⁴ Шпет, Густав Густавович (1878 - 1937) - русский философ, литературовед, переводчик. С 1916 г. - доцент, а с 1918 г. - профессор Московского университета. В понимании сущности истории исходил из идей Гуссерля и Гегеля. Был ближайшим помощником Челпанова в создании Московского психологического института. Выдвинул задачу разработки теории слова как знака - семиотики (был одним из ее создателей). Предвосхитил идеи современной семантики как центральной области лингвистики. В 30-е годы был арестован. Умер в заключении.
- ⁵ Делич, Фридрих - автор книги "Библия и Вавилон" (в оригинале - "Babel und Bibel"). Русское издание, в переводе с немецкого А.А. Нольде (4-е изд-е, перераб. и доп., СПб., Суворин, 1907. 124 с. с ил.)
- ⁶ Шкловский, Виктор Борисович (1893 - 1984) - русский писатель, литературовед, критик. Участник ОПОЯЗ'а. Рассматривал словесное искусство прежде всего как конструкцию, устанавливал закономерности сюжетного развития, сумму приемов, с помощью которых они строятся, принципы сцепления образов, "воскрешения" слова, обновленного художественной конструкцией.
- ⁷ Якобсон, Роман Осипович (1896 - 1982) - русский и американский языковед, литературовед, специалист по семиотике. Уехал из СССР в 1921 г. Один из основоположников структурализма. Последний раз приезжал в СССР с докладом на международный симпозиум по проблеме бессознательного (1979).

- 8 ОПОЯЭ - Общество изучения поэтического языка. Русская школа в литературоведении 10 - 20-х гг. XX века, одно из ответвлений формальной школы.
- 9 Эйхенбаум, Борис Михайлович (1886 - 1959) - русский историк литературы. С 1918 г. входил в ОПОЯЭ. Вместе с В. Шкловским, О. Бриком, Л. Якубинским разрабатывал проблемы поэтики, композиции, ритма. Считал, что "творчество ... есть акт осознания себя в потоке истории".
- 10 Каминская, Ида (1899 - 1980) - актриса, режиссер. С детства выступала в театре своего отца, гастролировавшем во многих городах России. В 1916 г. играла в еврейской оперетте, с 1917 г. участвовала в постановках матери. В 1921 - 1928 гг. руководила Варшавским еврейским художественным театром, а с 1933 г. - основанным ею еврейским театром в Варшаве (сейчас этот театр носит ее имя). Поставила в своей инсценировке "Братья Карамазовы" Достоевского и др. В 1968 г., в разгар антисемитской кампании в Польше, эмигрировала в США.
- 11 Бунин, Иван Алексеевич (1870 - 1953) - русский писатель. Мастер "малых" форм - повести, рассказа, новеллы - и поэтических переводов ("Песня о Гайавате" Лонгфелло и др.) Лауреат Нобелевской премии (1933).
- 12 Анненский, Иннокентий Федорович (1856 - 1909) - русский поэт. Поэзия Анненского выражает "боль городской души", которую "пытали Достоевским" (слова Анненского), Поэзия Анненского не пользовалась известностью при жизни автора, в дальнейшем оказала влияние на творчество поэтов-акмеистов.
- 13 Эфрос, Абрам Маркович (1888 - 1954) - русский переводчик, литературный и художественный критик. После революции 1917 г. - один из хранителей Третьяковской галереи. Известность Эфросу принес перевод с древнееврейского "Песни песней" (1909).
- 14 Блок, Александр Александрович (1880 - 1921) - русский поэт, замечательный лирик начала XX века.
- 15 Тютчев, Федор Иванович (1803 - 1873) - русский поэт. Вся поэзия Тютчева пронизана тревогой, человек в ней живет "среди громов, среди огня, среди клокочущих страстей, в стихийном пламенном раздоре" ("Поэзия"). Крупнейший представитель русской философской лирики.

- ¹⁶ Саша Черный, псевдоним Александра Михайловича Гликберга (1880 - 1932) - русский поэт. Создал оригинальную сатирическую маску интеллигентного обывателя, под прикрытием которой безжалостно бичевал мещанство в различных сферах жизни. Цикл музыкальных произведений на слова Саши Черного создал Д.Д. Шостакович.
- ¹⁷ Гумилев, Николай Степанович (1886 - 1921) - русский поэт. Много путешествовал (Италия, Африка). В 1914 - 1917 гг. - в действующей армии. Расстрелян в 1921 г. по обвинению в участии в контрреволюционном заговоре.
- ¹⁸ Липскеров, Константин Абрамович (1889 - 1954) - русский писатель, переводчик. Первые стихи написал в 1910 г. Занимался живописью в мастерской художника К.Ф. Юона.
- ¹⁹ Гофман, Виктор Викторович (1884 - 1911) - русский поэт. Поэтическое творчество Гофмана ограничено миром интимных переживаний, мотивами романтических "грез", лирики "намеков чувств". Покончил с собой в состоянии душевной депрессии.
- ²⁰ Клюев, Николай Алексеевич (1887 - 1937) - русский поэт. Оказал влияние на раннее творчество С. Есенина. В начале 30-х годов был выслан в Норильск.
- ²¹ В качестве эпиграфа к главе "Мысль и слово" в книге "Мышление и речь" Л.С. Выготский дал строки одного из вариантов стихотворения О.Э. Мандельштама "Ласточка":
- Я слово позабыл, что я хотел сказать,
И мысль бесплотная в чертог теней вернется.*
- ²² Розанов, Василий Васильевич (1856 - 1919) - русский философ-мистик. "Легенда о Великом Инквизиторе Ф.М. Достоевского" опубликована в Санкт-Петербурге в 1894 году. Выступал с монархическими и антисемитскими статьями.
- ²³ Ковнер, Авраам-Урия, написавший в 1877 году письмо Достоевскому, - ярко одаренный самородок с трагически сложившейся судьбой. "Я редко читал что-нибудь умнее вашего письма ко мне", - писал в ответе ему Достоевский. Подробнее о Ковнере и его переписке с Достоевским можно прочитать в книге Леонида Гроссмана "Исповедь одного еврея" (М.:Л., 1924). (Книга была переиздана в Иерусалиме в 1987 году.)
- ²⁴ Эренбург, Илья Григорьевич (1891 - 1967) - русский писатель и общественный деятель.

- 25 **Маковельский, Александр Осипович (1884 - 1969)** - философ, один из крупнейших специалистов по истории античной философии. "Досократики" изданы в Казани в 1914 - 1918 гг. в трех частях.
- 26 **Лев Шестов - псевдоним Шварцмана Льва Исааковича /Иегуда Лейб/ (1866 - 1938)** - философ-экзистенциалист и литературный критик, представитель Возрождения в России на рубеже XIX - XX веков. Рано пришел к религиозному иррационализму, родственному экзистенциальной философии Кьеркегора. В 1897 г. участвовал во II Всемирном сионистском конгрессе. Уехал из России в 1920 г. Умер в эмиграции, во Франции. Псевдоним "Шестов" составлен из "Ш" (Шварцман), "est" (есть), "ов" (родоначальник, древнееврейский патриарх).
- 27 **Выготский Л.С. Графика А. Быховского.** Изд-во "Современная Россия", 1926.
- 28 **Гершензон, Михаил Осипович (1869 - 1925)** - русский историк литературы и общественной мысли. Был одним из участников кадетского сборника "Вехи". Автор работ о Пушкине, Чаадаеве, славянофилах. Его работы о Пушкине, Тургеневе и др. отмечены оригинальностью эстетических и психологических наблюдений.
- 29 **Брюсов, Валерий Яковлевич (1873 - 1924)** - русский писатель, поэт. Для его творчества характерны урбанизм, научные мотивы, обращение к истории, тема смены культур. После революции Брюсов работал в Наркомпросе (вместе с А.В. Луначарским), в Госиздате, читал лекции в университете.
- 30 **Воровский, Вацлав Вацлавович (1871 - 1923)** - русский революционный деятель, литературный критик, советский дипломат. Убит в Лозанне белогвардейцем.
- 31 **Франк, Семен Людвигович (1877 - 1950)** - русский философ строгого, академического склада, последователь В. Соловьева. Вырос в доме своего деда - раввина М.М. Россиянского, одного из основателей еврейской общины в Москве. В 1912 г. принял православие. В 1915 г. написал магистерскую диссертацию "Предмет знания", посвященную вопросам гносеологии и онтологии; логика книги ведет к пантеизму. В 1921 - 1922 гг. занимал кафедру философии в Московском университете. После высылки из России жил и работал в Германии (1922 - 1935). Приход к власти нацизма вынудил его переехать во Францию, а затем в Англию.

-
- ³² Бахтин, Михаил Михайлович (1895 - 1975) - русский литературовед. Окончил филологический факультет Петроградского университета. С 1957 г. руководил кафедрой литературы Мордовского государственного университета (г. Саранск).
- ³³ Узин В.С. О "Повестях Белкина": Из комментариев читателя. Петроград, 1924.
- ³⁴ Айхенвальд, Юлий Исаевич (1872 - 1928) - литературный критик. В книге "Спор о Белинском" (1914) вскрыл несостоятельность литературных взглядов русской радикальной критики. Считал эстетический принцип единственным мериллом ценности произведения искусства. Вскоре после описываемых в воспоминаниях С.Ф. Добкина событий опубликовал в "Записках мечтателей" (1921) статью, в которой сравнивал расстрел Н. Гумилева с казнью А. Шенье. Л.Д. Троцкий ответил на это статьей "Диктатура, где твой хлыст?" в газете "Известия". После этого Айхенвальд был арестован и в 1922 году выслан за границу. Оказал некоторое влияние на формирование эстетических взглядов В. Набокова.

РАННИЕ СТАТЬИ Л. С. ВЫГОТСКОГО

М. Ю. ЛЕРМОНТОВ
(К 75-ЛЕТИЮ СО ДНЯ СМЕРТИ)
1841 - 1916

Статья двадцатилетнего Л.С. Выготского о М.Ю. Лермонтове была опубликована в Москве в русско-еврейском журнале "Новый путь", 1916, №28. Она была подписана "Л.С.", не вошла ни в одно собрание сочинений Выготского и, казалось, была забыта. Однако в 1995 г. она была перепечатана в журнале "Двадцать два" (Тель-Авив) №96 и сопровождается интересными комментариями проф. Р.Д. Тименчика.

Лермонтов своим отношением к еврейскому вопросу и характером разработки еврейской темы являет странное исключение на общем однообразном - в этом смысле - фоне русской литературы. Он является как бы нарушителем прочно сложившейся и установившейся традиции; и теперь, когда эта традиция окончательно и бесповоротно нарушена, когда, отказавшись от нее совершенно, порвав в этом отношении с прошлым, литература идет к новым путям - в наши дни особенно уместно вспомнить о нем и остановиться на его своеобразных и не усвоенных еще в достаточной мере заветах. Это своеобразие Лермонтова становится особенно ясным в связи с другим исполнившимся в этом месяце юбилеем - столетием со дня кончины другого поэта, родоначальника упомянутой выше традиции, - Г.Р. Державина.

Еще Пушкин определил долго державшееся потом в литературе традиционное отношение к еврею: "презренный еврей". Если взять образы евреев в художественной литературе со стороны авторского отношения к ним, если раскрыть их внутреннее содержание, то справедливость и крылатая меткость пушкинских слов становятся очевидными. От Державина до чеховского периода тянется нить этой традиции и здесь как

будто обрывается. В середине пути она обрывается на имени Лермонтова.

Будущий историк еврейства в России, как перед загадкой, с недоумением остановится перед отношением русской литературы к еврею. И странно, и непонятно: выдвинувшая принципы гуманности, развивающаяся под знаком человечности, она так мало внесла человеческого в изображение жида; в нем художники никогда не чувствовали человека. Вот почему безжизненная механичность марионетки, которая смешными движениями и жестами должна насмешить зрителя, подменила подлинное воплощение художественного образа штампованным трафаретом, шаблоном жида. Вот откуда полнейшее, доходящее порой до полного тождества, сходство жидов у совершенно различных авторов. Достоевский признается, что его герой удивительно напоминал ему Гоголева жидка Янкеля, был схож с ним, как две капли воды. Традиция сглаживает все различия, уравнивает все особенности: всегда и везде жид есть олицетворение низкого, темного, пресмыкающегося, жадного, гнусного, презренного, олицетворение человеческих пороков вообще и специфически национальных в частности (шпион, предатель, ростовщик и пр.), причем смешное есть неперменное качество этого образа.

И вот на этом однообразном фоне запечатлены не похожие ни на кого, удивительные образы. В то время, как еврей всегда и всех только смешил, когда Гоголь подметил смешное даже в еврейском погроме, Достоевский высмеял молитву жида, а Тургенев сказал последнее слово и изящно посмеялся над жидом, приговоренным к смертной казни, и оправдал "невольную улыбку" свидетелей казни, когда в литературе безраздельно господствовал театральный афоризм Ал. Дюма: "общепризнанно, что еврей на сцене всегда должен быть смешон", - в это время Лермонтов посвящает евреям трагедию, избирает евреев ее предметом, их жизнь - ее темой, жида - ее героем ("Испанцы", 1830). В мрачном, но величественном

свете трагедии видел он (к сожалению, только видел, а не воплотил) образы евреев, услышал слезы там, где слышали другие только смех, узрел трагические лики там, где все другие с легкой руки Гоголя видели только "жалкие рожи, исковерканные страхом". В трагедии есть всегда что-то высокое, предельное, последнее и величественное, даже нездешнее; и в этом подходе к еврейской теме, в пафосе трагического замысла, в новом совершенно чувстве, новом устремлении художественной интуиции, в самом задании трагедии о евреях - то новое слово, которое сказал Лермонтов и которое еще до сих пор не услышано.

Оно до того неожиданно прозвучало, раздалось таким резким диссонансом, что невольно заставляет, помимо художественного чутья, творческой интуиции замысла, почувствовать за ним могущественное влияние: здесь иная традиция - Байрона, Лессинга, Вальтера Скотта. Правда, и Лермонтов не совсем отказался от традиции русской; и у него есть жид-шпион, смерть которого описана так: "И многие, вздохнув, сказали: "Жалкий, несчастный жид, он умер не под палкой!" ("Сашка", 1835 - 1836). Здесь связь с традицией прочная: и Гоголь связывал с жидом предателя и шпиона; и тургеневский жид шпион, да и смерть его тоже была встречена невольными улыбками; и Пушкин приблизительно то же имел в виду, говоря: "и неразлучные понятия жида и шпиона произвели во мне обыкновенное действие".

Встречается у Лермонтова подчас и слово "жид" в его специфическом значении, с традиционным непередаваемым оттенком - нечто среднее между презрительным, но конкретным обозначением народности и несколько отвлеченной идеей свойств, пороков, наклонностей. Надо изобразить человека, в котором ни по чему внешнему или внутреннему нельзя узнать еврея, но должно дать почувствовать битого не раз ростовщика, пресмыкающегося, но жадного лицемера, - и для обозначения всего этого поэт пользуется испытанным

словом: "Какой он нации - сказать не знаю смело: /На всех языках говорит, /Верней всего, что жид. /Со всеми он знаком, везде ему есть дело, /...Был бит не раз; с безбожником - безбожник, /С святошей - незуит, меж нами злой картежник". А главное: "Лишь адресуйся - одолжит". ("Маскарад", 1834 - 1835). Ну как же после этого не жид? Достоевский негодовал на то, что его подозревали в неприязни к евреям - из-за употребления слова "жид" вместо "еврей". Это слово, пояснил он, он употреблял для обозначения известной идеи, понятия, направления, характеристики века. В этом смысле и воспользовался словом Лермонтов. Но именно в этом и видно глубокое его своеобразие. Ясно ведь, какую идею, какое понятие вкладывали в это слово, какое отношение в нем сказывалось; неудачность оправдания Достоевского очевидна.

Только в редких случаях пользуется Лермонтов этим смыслом слова "жид"; почти всегда это слово по значению равняется слову "еврей". Так, в трагедии "Испанцы", в "Балладе" (1832) оба слова чередуются, употребляются в совершенно одинаковом значении; самый характер обоих этих произведений исключает всякую возможность иного смысла.

Еще одной стороной Лермонтов близко подходит к старому шаблону. Известно, что не только образы евреев, но и евреек создавались по шаблону, только по совершенно иному. Уловили ли писатели в незнакомой красоте еврейки черты, достойные удивления, а не смеха, или просто, по природе вещей, женщина не могла играть той же роли, что и "жид", но ей была отведена роль иная; правда, не менее трафаретная, не менее незаконная с точки зрения художественной правды, но иная. Еврейка обыкновенно наделялась всевозможной обольстительностью. "Все еврейки привлекательны (в литературе) - так уж установлено традицией, - формулирует Леруа-Болье.

- По отношению к ним антисемитов, кажется, не существует".

Жидовки Лермонтова тоже обольстительны.

Его Тирза ("Сашка") нуждается в этом имени только для придания ей черт особенной, удивительной красоты, незнакомой и чуждой, в противоположность простой и обыкновенной привлекательности Варюши. Но и здесь, даже в этом черты сходства видимые и случайные, а различие глубокое и определенное. "Баллада" (1832), посвященная трагической любви молодой жидовки к русскому, построена не на внешнем и случайном облике героини. В ней образ жидовки окружен таким ореолом мрачной муки, роковой любви, трагической смерти и мести, и все это таким образом связано с "законом Моисея", что здесь уже вполне сказывается тот новый подход к еврейской теме, о котором мы говорили выше. Поэт понимал, что народ, потерявший свою звезду, обреченный на мрак в земном краю, который "все с ней потерял" и без дум, без чувств среди долин "ищет" тень следов ее ("Плачь, плачь Израиля народ...", 1830), может только плакать. Вот почему так удивительно сочетается с его настроением образ еврея. Задушевные песни поэта, интимная лирика его души есть в то же время еврейская мелодия душевного мрака ("Еврейская мелодия", 1836).

Другая "Еврейская мелодия" (1830) Лермонтова, непонятно почему так названная, посвящена уже исключительно личной мысли и настроению поэта и даже отдаленным образом, даже внешне не связана ни с чем еврейским. И вот самый факт, самое звучание в лермонтовской лирике еврейских мелодий, как и замысел трагедии, явление в русской литературе столь же удивительное, новое, ни на что не похожее, сколь знаменательное и характерное. Правда, в отмеченных выше мелодиях и в балладе никаких новых, высоких достижений ни в смысле собственно еврейской темы, ни вообще в художест-

венном отношении нет, за исключением разве стихов "Душа моя мрачна...", обладающих высокими достоинствами.

То же, что о лирике, следует сказать и о трагедии. Здесь тоже значителен подход к теме, а не ее воплощение, задание, а не данное, замысел, а не достижение. Оценка трагедии не вызывает разногласий: не лишенная некоторых сценических достоинств, пьеса, написанная под явным влиянием В. Скотта, Шиллера, Лессинга, Байрона, часто с явными подражаниями, ни в коем случае не может быть названа достойной Лермонтова и интересна лишь постольку, поскольку выявляет невоплощенный замысел поэта. Евреи здесь изображены в эпоху инквизиции в трагическом свете страданий и роковой обреченности.

Еврей, благородный Фернандо, не знающий о своем происхождении, воспитанный испанцами, вступает в конфликт с ними на почве любви его к дочери спасшего его Алвареца. Случайно спасает он жизнь Моисею, неузнанному отцу своему, который, в свою очередь, спасает неузнанного же сына, когда последний попадает в руки подкупленных наемных убийц. Патер Соррики, пытавшийся овладеть Эмилией после того, как она падает мертвой от руки Фернандо, предает последнего во власть инквизиции. Перед казнью открывается тайна рождения его, он узнает отца, узнает, что он еврей, Ноэми, сестра его, сходит с ума. Фернандо ведут на казнь. На этом трагедия обрывается. Здесь, конечно, взята внешняя трагедия еврея, ее мотивы подчас элементарны, как и апология еврейства: испанцы представлены в непривлекательном свете; евреи взяты под поэтическую защиту; Фернандо благороден, как и Моисей; лицемерному иезуиту противопоставлен глубоко религиозный еврей; когда Фернандо спасает Моисея, последний восклицает: "Клянусь Ерусалимом, что он не христианин". В конце это оправдывается.

Благородное мщенье и гордость гонимых и презираемых евреев - все это мотивы внешние, но дальше этого внешнего

в трагедии еврейства не шла даже европейская литература. Даже великий Шейлок, которого спас могучий бессознательный гений автора, восторжествовавший над его сознательной тенденцией и вынесший еврея из поля смешного и комического, даже этот Шейлок не вознесся до подлинного трагизма. В пьесе не веет трагическим духом; она развивается в плоскости внешней драматичности. А ведь это вершина поэзии о еврействе. У Лермонтова же это еще только первый, не оправданный доселе, порыв русской литературы. Но, однако, замысел трагедии осложнен и иными, более глубокими мотивами: поэт чувствовал за этой трагедией - трагедию Израиля, племени, рассеянного в пустынях, его слезы, его стон, голос его муки, не только закон Моисея, но самый голос крови Израиля, его обреченность, безволие, бессилие и упавшую на него тень гибели. "Мой сын... Я чувствовал, что кровь его - моя, что он родной мой... О, Израиль! Израиль! Ты скитаться должен в мире, тебя преследуют стихии даже"... И человеческая, понятная гордость мщеника осложнена игрой судьбы, случая, оттенена глубокой религиозностью страдания, покорностью Богу Израиля. "У Бога моих отцов нет жалости"... И трагическое безумие Ноэми перед смертью и гибелью - единственный исход трагедии. Все рушилось, все гибнет - катастрофа нарастает (ее в пьесе нет). "Вы думали, что я бедна; но мой отец стократ богаче вас и в столько ж лучше... Я буду петь, плясать и веселиться... Прочь, прочь, вы, слезы!... вы лжецы! Не плакать я хочу, но веселиться! - Прочь слезы! Мой отец богат"...

Традиция русской литературы в еврейском вопросе грешила тяжело не только перед человечностью, перед ликом Божиим, отраженным в человеке, но и перед художественной правдой. Нейезида искусства мстит сурово.

И вот - вместо художественных портретов - ряд карикатур, вместо живых образов - безжизненные марионетки, шаб-

лон. Явившая столь высокие достижения, русская литература оказалась бессильной перед еврейской темой.

Правда, и у Лермонтова нет в этой области высоких достижений, но в самом подходе к теме, в задании, в пафосе замысла чувствуется новое слово, намечается новый путь, на котором лежат многообещающие художественные возможности. И все они только на этом пути. И знаменательно отметить, что в самом почти начале, когда традиция только складывалась, Лермонтов, пусть в замыслах и несвершенных заданиях, явил то, к чему мы теперь только идем. Так трудны пути высокого искусства и высоких тем.

И не пророчество ли, что в лирике Лермонтова прозвучало слово о жажде высокой песни, пусть дикой и вызывающей слезы, но, как звуками рая, светлым безумием озаряющей мрачную душу, измученную страданиями и полную муки, как кубок смерти, яда полный?

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ЗАМЕТКИ (“Петербург”, роман Андрея Белого. 1916 г.)

Очерк Л.С. Выготского о романе Андрея Белого “Петербург” был опубликован в журнале “Новый путь”, 1916, №47. В последующие издания сочинений Выготского он не вошел. Был перепечатан А. Козулиным в журнале “Панорама Израиля” № 258 от 16 мая 1989 г.

Очень часто приходится слышать обвинение в том, что евреи склонны все решительно, даже не имеющее никакого отношения к этому “всемирному племени” (слово Достоевского), рассматривать сквозь призму еврейской проблемы. Точно все, что совершается в мире, вся мировая история, в ее великом и малом - все равно, имеет к ней непосредственное касательство. Еврею, в конце концов, кажется, что вокруг него вращается мир; немудрено, если себя он возомнил центром. Да и одному ли еврею? Не об этом ли кричат антисемиты всех веков и народов: мир вращается вокруг еврея? Не об этом ли говорит Вл. Соловьев, называя еврейство осью всемирной истории? Разумеется, это не больше, как грубая ошибка, пожалуй, невежественное заблуждение; про это в любом сколько-нибудь “научном” курсе еврейской истории написано, всякий теперь знает, что зависимость здесь обратная, что еврейство вращается вокруг всемирной истории, что от Кира и Наполеона зависит оно, а не наоборот; что в каждой точке своего пути, в каждом шаге своего движения она подчинена, связана и пр., и пр. Одним словом, повторяется история с Землей и Солнцем: сейчас даже в подготовительном классе - и там уже известно, что не Солнце вокруг Земли, а Земля вокруг Солнца вращается, что иной взгляд - ненаучное суеверие, невежество. Однако, если этим примером воспользоваться и дальше, - как бы мы ни прониклись неос-

поримой правильностью научных соображений, несомненная реальная данность нашего опыта осталась тою же и после Коперника; и - пусть это только обман зрения - но обман необходимый, нераздельный с самим существованием нашим, со всем мировосприятием. И жизнь наша продолжает протекать на основе ложных предпосылок - будто Земля неподвижна и Солнце вокруг нее вращается. Такова уж природа человеческого "я", так уж устроен человеческий глаз, что всякое открытое место представляется взору замкнутым кругом, в центре которого - сам наблюдатель. Так же обстоит дело и в мире идейном вообще, еврейском в частности, трудно, смотря на мир из глубины еврейского "я", не представлять себе, что крестовые походы и открытие Америки - спутники планеты еврейской истории.

Эти мысли казалось нам нужным предпослать дальнейшим строкам, посвященным рассмотрению нового русского романа с еврейской точки зрения, - как бы в оправдание. Тему нового романа, ее пафос можно определить одним словом: Россия; но точно так же, как во всякой точке истории всемирной прощупывается история еврейская, так и во всякой точке проблемы России есть выход в проблему еврейскую. Впрочем, если счесть недостаточными такие слишком общие соображения, можно привести и другое, имеющее помимо конкретности еще и то преимущество, что оно вводит нас в самое существо дела.

"...Даже панегиристы романа г. А. Белого едва ли откажутся признать, что его антисемитизм получил в романе довольно пошлое выражение".

Это - из отзыва "Русских записок" (№7, июль 1916 г.) Авторитетное мнение русского журнала показывает, что новый роман имеет все основания стать предметом обсуждения с еврейской точки зрения, что мы и намерены сделать в этих строках.

“Петербург” посвящен проблеме России, как и первый роман А. Белого. Там выявлено было одно начало России, одна ее стихия, здесь противоположная. В этом смысле вполне справедливо замечание “Р. Зап.”: “Роман г. А. Белого откровенно тенденциозен”. Петербург для автора - символ нерусской России, чуждой ее естеству стихии, вторгшейся в ее историю, начало искусственное, рационалистическое, вскрываемое в правительстве и революции (1905 г.), - порождениях нерусского духа. И вот здесь, в проблеме нерусской России, - выход в еврейскую тему, которую роман затрагивает, правда, только мимоходом. Даже больше: *прямо* затрагивается она очень отдаленным образом, но *косвенно* - в романе дан весьма и весьма значительный, показательный материал. Прежде всего - как ни расценивать роман - несомненно, что по заданию это есть произведение художественное, и идеи автора получили соответственное выражение в зависимости от самой избранной автором художественной формы. Вот почему выражение это глубоко своеобразно.

Нерусский Петербург воплощается в образах символических, лишенных всякой жизненно-реалистической окраски, точно все эти призраки, не то существующие, не то кажущиеся в сомнительных туманах, породивших их; всё здесь - даже самые зрительные образы - зыбко, неустойчиво, расплывчато, размывается туманом, колеблется, двоится, возникает и сейчас же вновь улетучивается. Нет здесь поэтому определенных и еврейских образов; может быть, нет даже ни одного конкретного еврея, кроме эпизодических фигур; но есть еврейские черты, черточки, штрихи, которые то складываются в определенные образы, то рассыпаются, то, вкрапленные, оживают в массе совсем иных линий и черт. Весь роман - его наружная ткань - раскрывается в *инородческом*, в том, что есть нерусского в чертах, лицах, образах. Петербург назван в самом начале “не русским градом”; не русские по происхождению герои - отец и сын Аблеуховы (его пред-

ки: Сим, мирза Аб-Лай - из киргиз-кайсацкой орды) - так вкрапляется черточка монгольского лица в образы, главнейшие в романе; то же с другим героем провокатором Липпанченко: "по происхождению он не русский, настоящая его фамилия Липенский - едва ли не жид", в него словами и намеками автора вкраплены черточки самые разные: монгола (во всех русских ведь течет монгольская кровь), хохла, малоросса - "этот хитрый хохол на хохла, кстати сказать, и не походит вовсе: походил скорее на помесь семита с монголом", то вдруг он "грек из Одессы"; подозрительные Флейш и Нейтельнайн. А разбросанные всюду, на каждой почти странице черточки - восточные "хари" (татары, японцы) с "пакостным отпечатком и пакостными глазами", татарщина, монгольство, китайцы и монголы и семиты даже в галлюцинациях, в бреду - "черты этого лица по временам слагались в семита, чаще же проступали в лице том монгольские черточки" (галлюцинация), даже инородческие боги, перс, армянин, папуасы, негры, черные орды, желтолицы, китайцы, молдаванин и пр. и пр. - все это прямо внушает видимый какой-то образ инородческой, нерусской России. Нельзя, однако, думать, что все это только средство художественного воплощения отвлеченной идеи.

Смысл раскрывается с достаточной прямолинейностью: он глубоко связан с самой сутью замысла. Идея "Петербургга" не новая: "С той чреватой поры, как примчался к невшскому берегу металлический Всадник, с той чреватой днями поры, как он бросил коня на финляндский серый гранит - надвое разделилась Россия; надвое разделились и самые судьбы отечества; надвое разделилась, страдая и плача, до последнего часа - Россия". И вот эти два начала разъединенной России - Петербург и Россия подлинная - глубоко враждебны, противоположны друг другу. Петербург - и то, что автор этим словом обозначает, - начало гибели, "водных хаосов", небытия. Поэтому пророчествует поэт об исчезновении Пет-

ра... Здесь соприкасается тема с проблемой Востока, панмонголизма, в которой автор идет вслед за Вл. Соловьевым, почувствовавшим "предвестие великой судьбины Божией". Здесь и антисемитизм.

Петербург называет один "восточный человек" в романе своим городом. Так, в сцене митинга перекликаются два еврея: "...Какой-то весьма почтенный еврей в барашковой шапке, в очках, с сильной проседью: обернувшись назад, в совершеннейшем ужасе он тянул за полу свое собственное пальто; и не вытянул; и не вытянув, раскричался: "Караша публикум; не публикум, а свинство рхусское!.." - "Ну и што же ви, отчево же ви в наша Рхассия?" - раздалось откуда-то снизу. - Это еврей бундист-социалист перекликался с евреем не бундистом, но социалистом". Вот эта "наша Рхассия", Россия нерусская, инородческая, "жидовская" и воплощена в романе.

Трудно даже сказать определенно, указать точно, в чем именно выразился антисемитизм автора. Есть, правда, и в новом романе - не избег их автор - многие черты старого, почти анекдотически-реалистического зарисовывания. Здесь и бегло очерченная карикатура мелкого подлеца, газетного сотрудника Нейтельпфайна, как-то причастного к провокации; есть и обычное в русской литературе словоупотребление - "жиды", сливающееся почти без остатка с манерой разговора эпизодического редактора консервативной газеты, представителя - правда, карикатурного, - политически-бытового антисемитизма; есть и традиционные литературные слияния еврея и предателя. В этой части своей роман, глубоко новый во всех отношениях, примыкает к многим старым традициям; недаром главы романа, такие вычурно-изысканные, украшены эпиграфами из Пушкина. Нетрудно уловить в семитических чертах провокатора отзвук длинной вереницы евреев-предателей - Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Достоевского, Тургенева - и многих других. И, разумеется, поскольку эта сторона подлежит суду художественному, в ней сказались все та же беспо-

мощность в подходе к этому предмету изображения, которая так характерна для всех названных писателей. Взять хотя бы приведенный выше эпизод из описания митинга, имеющий не только описательно-бытовое, но и символическое значение: “караша публикум” - да ведь тут необходимо приписать “еврей” - иначе вы портрета и не узнаете.

Но этот непосредственный антисемитизм не только не исчерпывает интересующего нас вопроса, но едва только покрывает его меньшую и наименее интересную сторону.

Проникающая весь роман “русская идея” заключает в себе неуловимый, как бы “лирический” антисемитизм, который чувствуется чуть ли не за каждым словом. Некая инородная сущность, вышедшая в обиталище духа, “в тело” (говоря словами А. Белого) России, недаром наделена чертами семитическими. Недаром галлюцинация, овладевшая большим духом героя, рисовала ему лицо семита. Недаром в бреду другому герою представляется “перевоплощение инородцев в кровь и плоть столбового дворянства Рос[сийской] Имп[ерии]” с целью, с “миссией” - “расшатать все устои”, все предать пламени и уничтожению, привести к гибели. И недаром в этом, не знающем определенных и обыкновенных чувств и движений, романе мимоходом останавливается автор с реалистически-психологической точностью бытописателя на том унижении “национального чувства”, которое испытывает герой, слыша разговор подозрительной Флейш о России.

В цитированном уже нами отзыве “Р. Зап” А. Белому вменяются в вину его “социально-политические пристрастия”, сказавшиеся в определенном изображении революции и правительства; едва ли “соц[иально]-полит[ическим] пристрастием” он исчерпывается; поэтому едва ли до конца справедливо замечание о “пошлости” его выражения, м[ожет]б[ыть], и присущей некоторым местам романа. Антисемитизм А. Белого гораздо больше и глубже “соц.-полит. пристрастия”. Здесь, думается нам, получило свое художественное выраже-

ние (оценка выходит за пределы этой темы) то характерное и глубоко знаменательное умонастроение "мистического антисемитизма", которое очень показательно для переживаемого времени и все более и более охватывает круги "кающихся интеллигентов". В умонастроениях русской интеллигенции в евр[ейском] вопросе довольно определенно намечается известный сдвиг. После бурно пережитой весны "братства народов", - "без различия" сменившей вековой антисемитизм, пропитавший собой и мысль и чувство общества и окаменевший в неподвижную традицию, - наступила пора теоретических углублений. Элементарные истины известны всем, хорошо усвоены, но сфера их приложения намеренно ограничена областью практического применения, социально-политического строительства. История сложнее отвлеченных элементарных норм; и в роковом узле, которым трагически связаны судьбы России и еврейства, почувствовалась глубокая антикомичность. Вл. Соловьев видел особый, мистический смысл в этом узле истории. Новые представители и носители идеи России тоже мистически (потому что рационально необъяснимо) чувствуют этот смысл, но уже совершенно иначе. Воскресает все более и более идейное наследие Достоевского - тот антисемитизм, который устанавливает исконную, предопределенную, фатальную некую враждебность "идеи жидовской" с идеей России, гибельность ее для России. Здесь антисемитизм получает свое обоснование и в конечном счете упирается в необъяснимые чувствования мистического смысла истории. Несколько лет тому назад Н. Бердяев провозгласил принцип религиозного антисемитизма, противления духу Израиля, осудивши антисемитизм политический, расовый, бытовой и пр[очий] с точки зрения христианского сознания. И даже в "Изите", до конца защищающем позицию элементарной справедливости, нет-нет да и проскальзывают отдельные черточки этого настроения (напр[имер], Мережковский говорит о глубоких отталкиваниях, которые существуют между

еврейством и христианством, но говорить о которых нельзя, потому что это значило бы вводить как бы духовную черту оседлости. Уничтожьте сперва политическую, говорит он, а уж потом установим духовную).

Антисемитизм в конечном счете далеко не просто объяснимая вещь. Это один из самых загадочных спутников еврейской истории. Просто - более или менее - объяснимы отдельные исторические формы антисемитизма, но сущность его, его некоторая универсальность, точно указывающая на его неизменную связь с самым бытием еврейства, с существом его исторической идеи, - глубоко необъяснимы. Антисемиты всегда чувствовали, вслед за Достоевским, "жидовскую идею", которая движет и влечет нечто такое мировое и глубокое, о чем человечество еще, может быть, не в силах произнести свое последнее слово". Антисемитизм есть, конечно, глубоко искаженное, неверное, но удивительное и непонятное отражение тайны Израиля. Евр[ейская] история режет мировую на слишком большой глубине, и антисемитизм не есть пена на поверхности течения, но внутренние, глубинные и сокровенные от глаза колебания и струения бездн. Ведь антисемитизм - вечный спутник вечного народа, и уже одна его вечность заставляет рассматривать его как отражение *sub specie aeternitatis* тайны вечности еврейского народа.

Новый роман А. Белого дает художественное выражение (с уклоном от Достоевского к Гоголю) этому чувству, этому умонастроению: сквозь зыбкую ткань видимой действительности и нормального дневного сознания просвечивает иная действительность, где все становится "то, да не то" (говоря словами романа), где обнажаются темные корни и истории, - и там в этой иной действительности прорезаются и отпечатлеваются семитические черты, которые в болезненном бреду, в галлюцинации складываются авторским сознанием в роковые знаки гибели.

АВОДИМ ХОИНУ

Очерк "Аводим хоину" был опубликован в журнале еврейской интеллигенции "Новый путь" в 1917 году, №11 - 12, с. 8 - 10. Он не вошел ни в одно издание сочинений Л.С. Выготского. В 1989 г. был перепечатан проф. А. Козулиным в журнале "Панорама Израиля", № 258, им же было написано и предисловие к этой публикации. В 1916 - 1917 гг. журнал "Новый путь" опубликовал несколько очерков Выготского; "Аводим хоину" - один из них. "Аводим хоину" в переводе с древнееврейского значит: "Рабами были мы". Это слова из "Пасхальной агады".

Пафос переживаемой исторической минуты есть не только пафос величественной и торжественной радости освобождения от гнетущей власти прошлого, но, главным образом, пафос страха за будущее. Не так ли точно должны были чувствовать выходцы из Египта, только что преступившие его границы, оставившие за собой привычное и обычное ярмо рабского существования, когда перед ними встали и раскрылись безмерные серые дали бескрайней пустыни? Что будет? Куда идти? Кто знает, где верный путь?

Еще вчера все было понятно и ясно: мы так сжились со вчерашним днем. У нас выработалась и укоренилась своя философия рабства и вчера еще единою добродетелью была "готовность взойти на костер". Связанному, в конце концов, все ясно; ему не надо мучительно вопрошать: что делать? Но сегодня неожиданно и внезапно, вдруг - руки развязаны, нечаянно обретаена свобода распоряжаться собой, что-то делать, двигаться, куда-то идти. Еще не создалась свободная походка, еще нет свободных слов, еще не пережит сознанием совершившийся переворот, еще старая душа в старом теле живет, радуется, трепещет и встречает новый день. Новый день застал нас не готовыми.

~~Аводим хоину. Воля еврейства была связана Историей еврейства, говорит Р. Нетан, "редко история актов, а чаще история страданий, гораздо меньше история того, что евреи де-~~

Аводим хоину. Воля еврейства была связана Историей еврейства, говорит Р. Нетан, “редко история актов, а чаще история страданий, гораздо меньше история того, что евреи делали, а гораздо больше история того, что с ними делали”. Внутренняя неавтономность, отсутствие своего центра и объединяющего закона превратили ее течение для стороннего наблюдателя в “конгломерат случайностей”; не творческая воля народа изнутри определяла поступательный ход исторического процесса, но события, эту волю подчинившие себе извне, сообщали движение еврейству. Одним словом, рабство не только народа, но и его истории.

Все, что было в еврействе активного, восстало против такого положения вещей. Овладеть ходом истории, самим делать ее, вернуть ей автономность - к этому сводятся все требования еврейских политических партий. И если в глазах массы еще так недавно пассивное восприятие не нами творимой истории было наилучшей и самой подходящей из политических систем, то в глазах активного меньшинства это было худшим из порождений рабства.

Иго, тяготевшее над еврейской историей, еще далеко не сброшено, да и вряд ли оно может в скором времени быть окончательно устранено: слишком глубоко оно коренится в самых основных условиях существования еврейства, в его рассеянии и т.д. Но в значительной мере все же роковое безволие может быть преодолено в близкие дни: чаяния близки к осуществлению. Русское еврейство самым ходом событий поставлено перед близким обнаружением и выявлением народной воли; ею будет возвращена та относительная свобода, которая сделает ее сознательные выражения и проявления одной из движущих сил истории. Надлежит поэтому вдуматься в существо и значение этого факта, ибо в нем центр и значение всего совершающегося в жизни еврейства переворота. В некоторой части еврейство перестает быть парализованным,

восстанавливается некая дробь народной воли, делается первый шаг.

Мы сейчас стоим у порога всего этого - на повороте еврейской истории.

Сознание современности в условиях исторической жизни в этот момент обусловило то, что этот переворот отливаётся исключительно в формы политические. По существу же он охватывает гораздо больше - не только стихию политики, но и всю стихию еврейской истории. И едва ли поэтому он может ограничиться одной политикой - начавшись в ее плане, он пересекает иные планы нашей действительности. Поэтому первая задача народной мысли заключается в том, чтобы строго отграничить сферу законного господства политики от той сферы, куда она не должна проникать. Еврейская масса политически почти не жила уже много веков. К чему же ведут ее политические партии? В основе национальной стороны всех их учений лежит позитивный национализм. Три теоретических начала составляют его: национализм, автономизм и секуляризация еврейской национальной идеи. В разной мере эти три начала проникают в программы и теории разных партий, но в самом существенном определяет и те и другие то общее им всем, что может быть вынесено за скобки, тот общий множитель, который, несомненно, будет выдвинут в объединенном выступлении этих партий, представляющих народ, во вне. Здесь не место подвергать теоретическому рассмотрению эти начала, но в самых общих словах здесь может быть намечена и поставлена проблема.

Народ больше, чем партия; история - чем политика; религия и миропонимание - чем программа. Никогда нельзя народную жизнь строить на основах позитивизма и рационализма: "на началах науки не устраивался еще ни один народ в мире". Проблема самого исторического бытия, как и проблема народного сознания, народной культуры, - суть проблемы не политические. Когда одна из партий формулировала свои

идеалы в словах: "партия - народ" и "народ - партия", она выразила самую сущность партийных домогательств: обратить народ в организованную политическую партию, спаянную единой программной целью, подчиняющуюся единой партийной дисциплине. И точно: не это ли есть идеал - видеть всех евреев бундовцами, сеймовцами, сионистами? Идеал, по существу, неверный. Народная душа не укладывается и не уместится в рамки исповеданий и убеждений. Все те, кто чувствуют себя и живут евреями, не потому что "хотят быть евреями" (формула национализма), но остаются евреями столь же необъяснимо, как остаются каждый миг самими собой, - все те своим внутренним опытом знают, что народная воля не создается декретами, указами и организациями, как культура не создается по рецепту планомерными усилиями партий, как народ не создается по рецепту национализма. Все это может только облегчить или затруднить выявление, обнаружение народной воли, придать ей соответствующую форму - и ни на волос больше. Народная воля действовала и прежде невидимо и неосязуемо, но таинственно и властно - в миллионах отдельных евреев, которые не сговариваясь знали одно и то же, в миллионах событий и дел. Воля не дается народу дарованием ему персональной или территориальной автономии. Поэтому жизненна только та еврейская политика, которая направлена не к созданию, а к истинному выявлению еврейской народной воли, которая подчинена его истории. Автономизм есть пустое слово, если он не опирается на живую волю народа: политики должны подчиниться народной воле, а не подчинить ее. Есть своя законная сфера господства у политики и у позитивного национализма: в учредительное собрание и в свод законов нельзя идти ни с чем иным, как с позитивным и рационалистическим. Освобождение и исход сулят восполнить круг народной жизни сектором политики. Но даже позитивный национализм формулирует: "нация есть историческое в нас".

...В эти дни освобождения, озаренные отблеском великого Исхода, когда творится живая *агада*, - в эти дни, больше чем когда-либо, мы знаем, что проблема народной воли есть в то же время проблема народного сознания. Глубокий декаданс, пережитый еврейством, должен смениться ренессансом народного сознания: только тогда оживет народная воля.

ВЫШЛИ В СВЕТ

следующие выпуски серии "Евреи в мировой культуре"

- Вып. 1. М.Соминский. Академик А.Ф.Иоффе
Вып. 2. Н.Тихонов. А.Вамбери Армин Вамбери
Вып. 3. М.Давыдова. Джакомо Мейербер
Вып. 4. М.Левидов. Вильгельм Стейниц
Вып. 5. М.Левидов. Эмануил Ласкер
Вып. 6. Э.Капит. Имена. Евреи в общественной и культурной жизни России. Книга 1-я
Вып. 7. В.Класен. Фердинанд Лассаль
Вып. 8. Э.Капит. Имена. Книга 2-я
Вып. 9. Б.Порозовская. Людвиг Берне
Вып. 10. П.Вейнберг. Генрих Гейне
Вып. 11. С.Дудаков. Петр Шафиров
Вып. 12. М.Гольдштейн Петр Столярский
Вып. 13. В.Каган. Борис Бруцкус
Вып. 14. Я.Сорокер. Борис Гольдштейн
Вып. 15. Л.Ауэр. Моя долголетняя музыкальная жизнь
Вып. 16. И.Евдокимов. К.Паустовский. Исаак Левитан
Вып. 17. С.Мельник. Антон и Николай Рубинштейны
Вып. 18. М.Поповский. Владимир Хавкин
Вып. 19. Э.Вольф. Иосиф Поппер
Вып. 20. Э.Капит. Имена. Книга 3-я
Вып. 21. Э.Каневский. Рудольф Самойлович
Вып. 22. Я.Сорокер. Российские музыканты — евреи.
Био-библиографический лексикон. Часть I
Вып. 23. Я.Сорокер. Российские музыканты — евреи. Часть II
Вып. 24. Н.Лельчук. А.Штильман. Абрам Ямпольский,
Яков Флиер, Миша Райцин
Вып. 25. Н.Елина. Василий Гроссман
Вып. 26. М.Улановская. Свобода и догма. Жизнь и творчество
Артура Кестлера
Вып. 27. Л.С.Выготский: начало пути.



„...я знал Льва Семеновича Выготского с детских лет и до самой его смерти. Память о нем для меня очень дорога.. Мои воспоминания рассказывают только об одной стороне этого замечательного, очень сложного и многогранного человека...“

С. ДОБКИН